



УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

В. Никифоров-Волгин

Дорожный посох

© Сканирование и создание электронного варианта:
Библиотека Киевской Духовной Академии
(www.lib.kdais.kiev.ua)



Киев
2012



АБВ

Н-62

В. Никифоров-Волгин

Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий
помяни и помилуй почивших сих рабов Твоих!

Николая	Галину	Светлану
Владимира	Алексия	Игоря
Григория	Варвару	Алексия
Григория	Афанасия	Александра
Харитину	Николая	Устину
Павла	Ивана	Параскеву
Даннила	Даннила	Пелагею
Анастасию	Евгению	Владимира
Елизавету	Марию	Ивана
Елену	Василия	Софию
Игната	Петра	Юрия
Игната	Ивана	Отр.Евгения
Софию	Ивана	Тамару
Ефима	Ирину	Галину

Читающий, помолись по возможности за эти души.
ближайше дарителю книги (в Киево-Печерскую Лавру)

Дорожный ПОСОХ



«Ставро»

Москва
2004



*По благословению епископа
Майкопского и Адыгейского
Пантелеимона*

Дорожный посох

Первая часть

Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится — не может вообразить душа моя, она скорбит только смертельно!

...Я замечаю, что временами темнеют иконы. Запрестольный образ Христа неведомо отчего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно... Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не замечаемый шум. Сны стали тяжелыми.



Все пожары да разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении в страхе бегущим по диким ночным полям со Святыми Дарами в руках, а за мною гнались с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах.

За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть! Так вот и чудится, что все мы на росстани-пути стоим и скоро не увидим друг друга.

А может быть, все это беспокойство — моя болезненная мнительность?

Дал бы, Господи!..

Хотя... сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал.

Навечерие Богоявления Господня. Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни. Замутились от скверны реки Божии...

Завтра начну свою проповедь словами: «Мир как бы книга из двух листов. Один лист — небо, а другой — земля. И все вещи в мире суть буквы». Осквернили мы великую книгу Божию...

По народным сказаниям, сегодня ночью на речные и озерные воды сойдет с неба Дух Божий и освятит воду и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полунощной водой, креститься будут на нее, а завтра, после обедни, зелено вино в ратоборство со святою водою вступит... Много греха всякого будет...

Господи! Избави землю Твою от глубоких ночи!..

При пении «Глас Господень на водах» мы пошли крестным ходом на Иордань. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет! Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы осветили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испытать ее как причастие!



Когда возвращались обратно, то началась метель. Что-то древнее, особенно русское было в нашем заметленном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви. На иконы падал снег. Все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение!.. Так хорошо... и особенно трогал желтый огонек несомого впереди фонаря...

До самого позднего вечера я ходил по избам «со славою» и освящал паству свою богоявленской водою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийство?

Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на крыльцо. Метель вошла в полную свою силу. Тревожно было слушать завывы ее.

— Не попусти, Господи, очутиться кому-либо в поле или на лесных дорогах!..

Звонари наши загуляли. Пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся...

Звонил долго и окоченел весь. Перед тем как сойти с колокольни, долго смотрел на метель... Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю?

Доктор качал головою: да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашими-то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня. Сказывали, что смерть у изголовья стояла, но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную...

Когда здоров священник и горя он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ: насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет, но заболел священник — народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему... Одиноким он, русский человек, и только священник еще «отцом» ему является... Хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстанным... Вот и со мною тоже: когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжело — плакали навзрыд, молились, руки мои целовали.

Весь мир для меня стал теперь теремом Божиим. Все хорошо. Все разумно. Все светло. Вот что значит болезнь! На стол упало солнышко. Я положил на него руки и очень радовался — жизнь жительствоует!

В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи впри-



прыжку. Ах уж эти воробьи! Хорошие они птицы! Радуют и умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседозвольностью! Хороша земля Божия. Скоро весна наступит, и, по образному выражению народа нашего, зачнет она милому рубашки вышивать разными-то цветами, травами, узорчатыми листьями. Приневестит она землю в новую вышитую рубашку. Будет земля в новой рубашке ходить!

Диакон Захарий меня под руки поддерживает, и вижу, душою чувствую, люблю ему, что я с одра болезни восстал! Смотрю в широкое осветленное лицо его и думаю: вот бы и всегда так ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь... этак тихо, из самой глубины сердечной...

Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал и загрустил: как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя!.. Она бы сегодня меня под руку поддерживала... Оба мы с нею мечтатели и обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьевы горы и слушали московский великопостный звон. В

предвесеннюю пору всегда вспоминается юность, наше невесто-неневестное.

Да, не может человек носить в себе полную незамутимую радость!

Великий пост. Таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике: разрешать грехи человеческие! На многих и многих необходимо по святым правилам нашей Церкви наложить тяжкую епитимию, но не могу я! Нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека.

Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния! Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: «Погубих первожданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг, и стыжуся».

Побежали ручьи. После великого вечера я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках! Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле.



...А леса-то наши вырубают! Кругом села такие были заповедники, такая чащоба, сколько птиц и зверей было, а теперь пустыри... Примечаю я: чем больше природы уничтожается, тем хуже на земле становится и лик человека утрачивает свою ясность.

Над природой человек озоровать стал! Так и норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверя и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека... Не произошла бы от этого великая скорбь!

В кануны Страстной седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что-то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему-то ее приуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазнам она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: на огонек к вам пришел! Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседовать с ними... Любо глядеть на лица крестьян, при скудном свете керосиновой лампы слушающих слова Божии!

Одинок русский человек, очень одинок! Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы-печальники... Без них некуда деваться беспокойной душе нашей!.. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех?

На Страстной неделе деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы и уступчивы. Даже озорники и отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю: не отречется от Христа народ русский! Пойдет к Нему, все Ему расскажет, покается и сядет у ног Его...

Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки. Сумерки предпасхалья. Ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова: «Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре». Никогда такой близкой не кажется русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках, при ветре. За последнее время она особенно почему-то ненаглядна, словно уйти куда-то хочет от меня...

Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю: отчего грустно мне в эту спаси-



тельную и светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на ростани-пути стоим и скоро не увидимся друг с другом.

Троекратным лобызаньем целовал в уста пасомых своих, и хотелось плакать. Особенно грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам с узелками освященных куличей, светло, по-Христову, улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются и никогда больше не придут сюда, на радостную Христову вечерю.

А может быть, и впрямь у меня что-то болезненное?.. Дал бы, Господи!

Солнце заливаает землю. Яблони в полном цветении. Глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил двенадцать месяцев года с двенадцатью учениками Христа. Май месяц — это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик.

Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. На мое плечо и на страницы книги падают лепестки яблонь. И так кстати открылись мне слова псалмопевца о солнце:

«Небеса поведают славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь... Он по-

ставил в них жилище солнцу... от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его».

От этих слов или от внешней красоты я не мог не перекреститься и не воскликнуть:

— Господи! Да придет Царствие Твое!

— Вот бы скорбь людскую изжить! Радость на земле насадить! Жития безмятежного достигнуть!

Лето стоит знойное. Во многих местах горят леса. Солнце застилается дымом. Свет стоит тревожный, словно апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии.

Ползают темные приглушенные слухи...

Старик Кирик сказал мне сегодня, что он прикинул к земле ухом и слышал, как гудит земля:

— К беде это, батюшка!

Деревенский дурачок Сема ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню:

*Черный ворон, черный ворон,
Что ты въешься надо мной,
Иль мою погибель чуешь,
Да э-эх!..*



Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом: Э-эх!..

Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не прикинуть ухом к земле — послушать; гудит ли она?

А может быть, это мое сердце гудело?

Я проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю... Я встал с постели и никак не мог успокоиться.

Горница моя озарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила:

— Неужто Он не слышит?

Среди ночи я побежал в церковь. В алтаре затеплил семисвечник и до самого утра простоял перед престолом. Мне стало легче.

Объявлена война.

По всей Руси панихиды служат. Помянники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я раздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохладную пустоту своих комнат и думаю:

нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано: если кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже не свободен.

Не хочется мне и дома своего. Завтра придут беженцы из военной полосы. Поселю их у себя, а сам в бане притулюсь.

Очень остался доволен самим собою, но потом стыдно стало: несовершенные и себялюбивые мы натуры! Не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою! Далеко еще нам до совершенного, светоподательного подвига!

Банька у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимой тепло в ней будет. Затеплил лампаду, и стало так уютно, словно Сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке.

Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал: хорошо жить под низкими потолками! Тишины на сердце больше!..

Да, опять я доволен, опять самооболящаюсь, опять впадаю в «духовную прелесть». Мало над собою работаю.

Земля волнуется. Народ тревожится. Вокруг меня горя — непочатый край.



Жмутся ко мне люди. Утешения ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе большое носят. «Все в житии крест, яко ярем взявшии». Посмотришь на них, сказать что-то хочешь в утешение, но вместо слов опустишь голову и молчишь...

Большое горе стряслось над нами, но сердце накликает еще что-то грозное и страшное.

— К каким же еще испытаниям ведешь Ты, Господи, народ русский?

Вторая часть

...Наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать, парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма икону Владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов.

Я хожу из избы в избу. Утешаю, увещеваю, молюсь. Поздно вечером меня

подкараулили, напали и тяжко избили. Три дня не выходил на улицу. Весь в повязках лежал.

...Голод. С превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал теперь ржаным — почернело тело Христово...

Служил сегодня литургию. Церковь была переполнена голодными. Матери принесли на руках голодных детей и не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол, под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер четырехлетний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом — так были слабы.

Я причащал голодных детей и еле сдерживал в руке чашу Христову... Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Диакон с жадностью смотрел на служебные просфоры. Детям давали по кусочку просфоры. Они проглатывали его и тянули ручонки за другим: «Дай хлебушка, батюшка, дай ради Христа!»

Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на эти опухшие от голода лица, на голодных детушек,





положенных матерями под иконы небесных заступников, и на этого мертвенького младенца, лежащего на скамейке, — не выдержал я, заплакал, упал перед народом на колени и ничего сказать не мог! Мы только плакали и кричали что есть сил: Господи, спаси! Матерь Божия, заступи!

В ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш храм.

Мне Господь помог неврежденно пройти через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс, Запасные Дары и несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти. Она была объята пламенем.

Друзья мои упреждают: «Беги, батюшка, от греха! Убить тебя хотят!» Я никуда не убегу. Господь защититель живота моего, да не убоюсь! Сейчас размышляю: где бы разложить священный антиминс и начать совершение Святых Христовых Таин?

В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в дом Божий.

Пасомые мои принесли сюда иконы, лампы повесили. Из свежего лесного теса сделали иконостас, престол и жерт-

венник. Сшили мне из добротных деревянных мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова: «Чашу спасения приму, и имя Господне призову».

Идет народ, идет за многие десятки верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает. Стоят под небом. До поздней ночи я исповедую их, беседую с ними и утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются. Вот остановились. Комом снега в окно запустили.

А меня все время упреждают: Беги, батя, покуда жив! Зlobятся на тебя. Врагом народа объявляют.

Будь что будет.

Мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс.

Пришли ко мне в метельную ночь.

— Сряжайся, батя, поскорее! Едем!

Я им в ответ:

— Не поеду, други! Совесть пастырская не позволяет!



Тут уж они силою заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, а только понукали.

Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, дарохранительницу и Евангелие.

Усадили меня в деревенский возок и тронули.

Поселили меня в маленьком речном городке в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу.

Сидим мы с Саввой Григорьевичем «на липках» и беседуем на тихие душевные думы, а по вечерам Священное Писание читаем и молимся. Истовый и светлодушный он старик, от смолевых древнерусских истоков! Жизнь свою словно икону Спасителя пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему родственники и хорошие благочестные люди. В задней боковуше, окном на пустырь, совершаем богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения, приходят венчаться,

каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство великим уничижениям и гонениям подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище. Во время литургии у одного из священномучеников вырвали из рук чашу и расплескали по полу Кровь Христову, а священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии священноиерея Дмитрия штыками ослепили.

Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха. Вся в слезах.

— Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника! Убили его!

— Где же почивший? — спрашиваю.

— Там, батюшка, у них... В народном доме лежит. Тебя туда не допустят. Пограждански его хоронят, с музыкой и песнями... Он ведь комиссаром состоял...

— Как же я отпевать стану?

— Отпой его, голубчик, заочно... у себя в боковуше! Дай душе его благословение...



Плачет старуха, Христом Богом молит.
Стал отпевать.

...Мимо окон везут мертвого комиссара с музыкой, а я читаю ему вслед: «...в вечных Твоих селениях упокой душу усопшего раба Твоего в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание...»

Стал я заправским сапожником. Пошли у нас дела с Саввой Григорьевичем складно да ладно.

«Ночная паства» моя росла, и в боковуше становилось тесно.

В городе не прекращаются расстрелы...

Однажды ночью к нам постучали. Открыли. Входит комиссар Ахтыров. Обращается ко мне:

— Пойдем со мною, батюшка!

Я приготовился к смерти.

Савва Григорьевич белее снега стал. Комиссар успокаивает:

— Не бойтесь, отцы! Я затем пришел, чтоб батюшка сына моего окрестил в погтайности... а то он не выживет!..

Сегодня было у нас совещание. Мы решили из боковуши перебраться в лес (а леса здесь хорошие, затаенные, с глу-

бокими чащобами). Недавно одному из наших посчастливилось найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к этому месту. До самого рассвета приводили ее в благолепный вид. Тайком принесли сюда иконы. Будущая церковь наша сокрыта черными вековыми елями — лучшего места не найти! Условились мы ходить на молитву разными путями и в одиночку, памятуя слова Христа: «блюдите, како опасно ходите».

Первая молитва в лесной пещерной церкви!.. Свечей у нас не было. Горела лучина. После «Хвалите» я запел величание преподобному Сергию, ибо только он вспомнился при горящих лучинах! Всем народом мы пели: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче Сергие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов». По самую заночь я принимал исповедь собравшихся...

После ночной молитвы я долго гулял по лесу. Издали слышался нутряной смертный крик и вслед за ним несколько ружейных залпов... Я присел на поваленном дереве.



Как малое дитя, спрашивал душу свою: почему так страшен человек? Разве нельзя жить без этих ночных криков и выстрелов?

Шума тревоги больше не слышу. Тихо стало и притаенно. Иконы стали светлыми. Сказывают, купола на многих церквях обновляются! К чему сие? Что значит этот Господень знак?

Наступил рождественский сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось... Все мы сегодня, как встарь, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш» и во всех домах затеплим лампы...

Но недолго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платье, простоволосую. Седого сторбленного директора подгоняли ружейными прикладами. Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях.

Сердце мое заметалось. Я вскрикнул и упал.

...Очнулся я к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство.

— Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен! Что это с тобою произошло?

Я ничего не сказал. Помолился, попил святой воды, частицу артоса вкусил и стал совсем здоровым.

В ночь на третье января к нам постучали.

— Беда, батюшка! — воскликнули вошедшие. — Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное: хотят чудотворную икону Божией Матери на площадь вынести и там расстрелять!

Рассказывают и плачут.

Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю:

— Сколько вас тут человек?

— Пятеро!

— Так... Ничего не боитесь?

— На какую угодно муку пойдём! — отвечают гулом.



— Так слушайте же меня, чадца моя! — говорю им шепотом. — Чудотворную икону мы должны спасти! Не отдадим ее на поругание!

Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и молоток. Перекрестились мы и пошли...

На наше счастье, Владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке. Я вдоль заборов пробираюсь. Наши уже в соборной ограде. Тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись. Перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотом звякнул — замок распался. Прислушались. Только снег да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор. Из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери. Положили ее в сани, прикрыли соломой и, благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине. Никого не повстречали. Снег заметал наши следы.

К пещере несли Ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал:

— Не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места во дни татарского нашествия на Русь?

В городе слух пошел о чуде — Владычица покинула собор! Да, воистину чудо! Ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю святыню русскую.

Около собора днем и ночью толпится народ. Его разгоняют ружейными залпами. Народ ощеривается и выходит из себя.

Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная. Народ с криком набрасывался на кощунников, вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили:

— Ра-а-с-хо-дись, а то сейчас бабахнем!

Когда в соборе все было очищено, то там устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что чаша Господня, наполненная водкой, обносилась «вкруговую». Молодежь волочила по улицам иконы и распевала:

*Эх, играй, моя двухрядка,
Против Бога и попов.*



На пустыре Савва Григорьевич нашел икону преподобного Серафима Саровского, изрешеченную пулями.

Много горьких дорог прошло с того времени, когда мне вновь удалось найти свои записи и склониться над ними.

...Недолго пришлось нам собираться в подземной церкви. Нас выследили. На Крестопоклонной неделе, во время выноса креста, пред нами предстали они...

Два рослых, дурно пахнувших солдата с заломленными на затылок папахами, с неумолимыми дикими руками тяжело подошли ко мне и связали меня веревками. Мне не дали снять с себя ризы — так и повели в полном священническом облачении. Паству мою, по счастью, не тронули, и она сопровождала меня со слезами и стенаниями. Пробовали защитити меня, но им угрожали ручными гранатами. Меня тревожила мысль: догадаются ли пасомые мои спасти чудотворную икону Богоматери? Тревога моя, видимо, передалась Савве Григорьевичу. Он издали, из темноты, крикнул мне:

— Не беспокойся!..

Легко мне стало, словно Бог возглаголал из лесной чащи.

В одном месте, на леденице, я поскользнулся и упал. Солдаты засмеялись, не помогли мне подняться, а схватились за край веревки и с песней «Эй, дубинушка, ухнем» волоком потащили меня по земле.

Я весь избился и окровавился. Потом они пожалели меня и подняли.

Поздно вечером привели к следователю. Я встал около письменного стола. Следователь писал и не смотрел на меня.

У него были сверкающие белые руки. Лицо румяное, молодое и как будто простодушное. Все обыкновенное, человеческое, если бы только не уши... Пепельно-лиловатые, широкие, они свисали наподобие тряпок, закрывая ушную раковину.

Прошло минут двадцать, но он все еще не поднимал на меня глаз. В кабинете, освещенном душным светом электрической лампочки без абажура, было тихо. Только два звука было слышно: сухое шуршание пера и влажное падение на паркетный пол кровяных капель с моих избитых о голледицу рук.



Наконец следователь тихо положил перо, поднял румяную голову и осиял меня таким шелковым голубым взглядом, что я первое мгновение подумал: «Какие хорошие человеческие глаза!» Но, взглядев-шись в них, я содрогнулся...

Минут пять смотрел на меня не мигая своей страшной, словно застеклившейся синевой.

Он перевел взгляд на мои окровавленные руки и улыбнулся стеклянной и, как мне представилось, синей улыбкой.

Тонкими, совершенной красоты пальцами он изредка отмахивал что-то от лица своего, словно садилась на него пау-тинная нить. Он заставлял сознаться меня в организации заговора против власти. Я с твердостью отрицал это и го-ворил: «Я молюсь за нее, чтобы она не проливала крови!» Очень долго допра-шивал меня голосом хрустящим и слов-но костяным. Моим объяснениям не ве-рил. Под конец допроса лицо его пошло пятнами. Совершенно неожиданно он ловким кошачьим прыжком соскочил с бархатного лилового кресла, подбежал ко мне, вцепился в мое горло белою

льдистой рукою и закричал в исступле-нии слюнявым извивающимся хрипом:

— Сознавайся! Стерва! Убью!..

Он приставил к моему виску револь-верное дуло. Голова моя горела нестер-пимым жаром, и от прикосновения ме-таллического холодка я ощутил прият-ность. Больше всего меня напугал впервые виденный мною звериный лик человека.

Меня отвели в темницу. Здесь сидели буйные люди. Встретили меня со свистом и улюлюканьем. Издевались над моими священническими ризами и плевали на них. Дали мне место на полу, в затемке, рядом с лоханью для нужды. Пол был ка-менным и зловонным. Когда погасили свет и все полегли спать, я стал молиться. После молитвы подошел ко мне кто-то не-видимый во тьме и сказал:

— Ложись на мои нары... там теплее, а я на твоём месте образуюсь!..

Радостно стало мне:

— И здесь Христос!..

В эту первую тюремную ночь я не мог скоро заснуть. Думал о предстоящих страданиях своих и не утаю: ужасался их



и тосковал немало. Мне вспоминались муки, кои претерпели Христа ради соратники мои.

В Астрахани архиепископа Митрофана и его викария епископа Леонтия живьем закопали в землю; в Свяжске епископа Амвросия привязали к хвосту бешеной лошади; в Белграде-Курском епископа Никодима убивали железными прутьями, тело же его бросили в сорную яму; архиепископа Пермского Андроника ослепили, выколол глаза, отрезали щеки и в таком виде влчили его по городским улицам, а потом живьем закопали в землю...

Я сжимал в руке нательный крестильный крест и с гефсиманскою тоскою взывал к Нему:

— Господи! Научи мя оправданиям Твоим!..

В пищу давали сто грамм хлеба и суп из снитков или селедки. По два раза в день приносили нам по кружке воды. Тюремный хлеб я не ел даром: меня заставляли чистить отхожие места, мыть полы, стирать белье конвойных, и в этом я хорошо преуспевал.

С обитателями нашей темницы, ворами и убийцами, я крепко подружился. Они любили меня за тишину к ним, за беседы с ними, за уступчивость. И заметил я: чем глубже носишь в себе образ Христа и вооружаешься смирением, тем скорее осветишь звериный мир человека. Если и не сразу, то впоследствии все же осветится человек. Надо только жить рядом с ним, чтобы Христос, живущий в тебе, постоянно освещал омраченного. Человека за руку приходится водить, как ребенка-несмышленища!..

На Страстной неделе соузники мои изъявили желание исповедоваться передо мною и в одну из ночей я принял их сокрушенную, отчаянно русскую исповедь... В знак раскаяния они целовали мой нательный крест.

В ночь на Светлое Христово Воскресение я облачился в изорванные свои ризы и пропел им всю пасхальную заутреню, а потом христосовались мы...

Пять месяцев я просидел в здешнем узилище. В самый день рождения моего (мне исполнилось пятьдесят два года) меня отправили железнодорожным путем в губернскую тюрьму.



Втолкнули меня в подвальный темноту и сырость. После солнечного света, на время осветившего меня по пути в тюрьму, я долго стоял на пороге, словно в ослеплении, ничего не видя. Ко мне кто-то подошел, назвал меня по имени и обнял. Глаза мои проясняться стали. Я увидел архиепископа Платона. Только по глазам да по тому неуловимому, что делает человека характерным, я узнал его. Величественный русский владыка превратился теперь в согбенного старца. Ряса была в дырках, на ногах плохенькие сапожонки, седые волосы сваялись в колтун и, давно не мытые, напоминали горький ветхозаветный пепел.

Я поклонился ему в ноги.

Ко мне стали подходить из разных углов другие обитатели подвала.

Меня обнимал заросший волосами, землисто-бледный, похожий на тень, высокий человек в сутане.

— Ксендз Станислав Лабунский!

Крепко пожимал мне руки маленький, иссохший, похожий на философа Канта господин в сюртуке. Через одышку он назвал себя:

— Пастор Келлер!

Тихими стариковскими шагами приблизился давний духовник мой игумен Амвросий. Молча обнял меня и молча перекрестил.

Семинарским прозвищем моим («Пустынник антиохийский») встретил меня однокашник мой отец Михаил Аскольдов. Был когда-то осанистым, златовласым и осиянным каким-то — теперь старик передо мною стоял с трясущимся перемученным телом.

Великим поношениям подвергались мы...

Поздно вечером, а то и в полночь, в замке щелкал ключ.

Открывалась железная дверь, и на пороге появлялись они. Впереди товарищ Бронза. В лице и в коротких тяжелых руках этого человека действительно было что-то бронзовое. Высокий, широкий в кости, с напояженной челкой на низком волосатом лбу, всегда в кожаной одежде... Рядом с ним два мускулистых китайца с беспросветными глазами, всегда потные и как бы лиловые от грязи, одетые в замусоленные липкие ватники.



— Одевайсь! — раздавался гнусавый голос Бронзы. Нас выводят из камеры. Темными переходами идем на широкий асфальтовый двор.

— Вста-а-а-ть к стенке!

От этого окрика мы чувствуем себя солдатами и стараемся выстраиваться по военному.

Далеким озерным всплеском звучит тишина. Они вынимают из кобуры револьверы, нахмуренно осматривают их с разных сторон и... начинают в нас прицеливаться.

В течение минут трех направляют на нас револьверное дуло. Мы бледнеем и начинаем креститься. Насладившись нашими предсмертными чувствами, они милостиво машут нам револьвером.

— Репетиция окончена! Разойтись!

Такие репетиции устраивались раза два, а то и три в месяц.

Однажды нам пришлось испытать еще более дикое поношение.

Поздно вечером открывается дверь. Мы только что совершили всенощное бдение и, сидя на соломе, нашем ложе, тихо беседовали.

— Одевайсь!..

Нам вручили по железному заступу. Повели нас за тюремные стены. Пахло летней, напоенной солнцем травой. Запах давно невиданной травы особенно взволновал меня. «Земля Божия, земля Божия», — несколько раз повторял я вслух. Нас повели за город и заставили остановиться среди поля.

Мне вспомнилось детство, ночное... костер среди поля... всплеск большой рыбы в протекавшей мимо реке и серебристое ржание жеребенка.

— Ройте яму!.. — приказал нам Бронза, — душ... этак... на семь!..

— Вот и конец...

Игумен Амвросий с трудом работал заступом. Китаец толкнул его в спину, и он упал на камень, разбив себе подбородок. Седая борода его окрасилась кровью, и он как-то беспомощно улыбнулся... молчаливой улыбкой. Яма была вырыта. Мы едва переводили дух от усталости, и всем нам очень хотелось поскорее отдохнуть.

— Ну-с... отдохните маленько... — сказал нам Бронза, закуривая папиросу, — а потом встаньте под рядовку затылками к яме!..



Мы стали готовиться к смерти. Мы целовались последним целованием и благословляли друг друга в дальнюю дорогу... В это время металлическим взвизгом рассмеялся пастор Келлер. Мы бросились к нему. Весь он был затуманен безумием... Мы обнимали его и утешали, а он царапал лицо свое длинными землястыми ногтями и кричал сквозь рыдающий хохот:

— Иерусалим! Иерусалим!

Он потерял сознание и упал. В это время подъехал к нам грузовик, нагруженный чем-то тяжелым и, как мне почудилось, страшным. Груз был покрыт влажным брезентом.

Нам скомандовали:

— Разгрузить!

Мы сняли брезент. На грузовике лежали мертвые тела. Среди них мальчик лет десяти в матросском костюме с перебитым до мозга черепом.

Нас заставили хоронить их. Когда зарыли, то скомандовали:

— Стройся! По домам!

Бесчувственного пастора мы положили на грузовик.

Пастор Келлер скончался. За несколько минут до кончины Господь прояснил его разум. Он сказал последние свои слова на земле:

— Слава Богу за все!..

Тело его в течение недели оставалось невынесенным...

Проходили долгие дни нашего заключения. Однажды мы стали примечать, что вокруг нас нарастает тревога. Временами слышалась отдаленная пушечная стрельба. Мы осмелились как-то спросить у приносящего нам пищу простоватого и доброглазого парня: что происходит на свободе? Он шепнул нам: «Белые наступают!»

Пушечная пальба приближалась. За дверью нашей камеры все чаще и чаще раздавались нервные бегущие шаги. Они заставляли нас вздрагивать. Мы прижимались друг к другу. С наших уст не сходила молитва. Однажды приносящий пищу объявил нам шепотом:

— Готовьтесь сегодня к смерти...

По уходе его из камеры епископ Платон положил богослужебный начал: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...»



Мы не сговаривались, что нам петь: всенощное бдение, молебен, но разом почувствовали, что нам следует отпевать себя. Мы запели последование погребения человек:

«Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни. Аллилуйя...»

Епископ Платон поминал о вечном упокоении наши имена:

«Еще молимся о упокоении душ усопших раб Божиих, и о еже проститися нам всякому прегрешению, вольному же и невольному...»

При пении прощального «Зряще мя безгласна» мы лобызались и крестили друг друга.

Был вечер. Земля вздрагивала от пушечных выстрелов.

В замке щелкнул ключ. Вошел Бронза в сопровождении китайцев. Не ожидая его приказанья, мы стали собираться в дорогу...

...Расстреливали по очереди.

Первым упал епископ Платон, за ним ксендз, третьим отец Михаил. Он успел крикнуть:

— В руке Твои, Господи, предаю дух мой!..

Я стою с игуменом Амвросием. Он вполголоса читает слова исходной песни:

«Непроходимая врата тайно запечатствованная, благословенная Богородице Дево, прими моления наша и принеси Твоему Сыну и Богу, да спасет Тобою души наши».

Мне вспоминается сельская церковь. Вербное Воскресение. Иконостас украшен красными прутиками вербы. Я стою в очереди причастников. Мне всего девять лет. В белой рубашке я и в сапогах новых с желтыми ушками наружу... Медленно движется очередь причастников, и все они освещены весенним солнцем. Деревенские певцы поют: «Тело Христово примите, источника бессмертнаго вкусите...»

Бронза свинцовой поступью подходит с наганом к игумену Амвросию.

— После этого причастника и я подойду к чаше... — туманится в моей голове. — Верую, Господи, и исповедую... — шепчут уста моя. Вся земля превращается в синее облако, и нет уж памяти ни о прошедшем, ни о настоящем... Тело мое как бы опадает, и вот... нет уж меня, облеченного в зем-



ляную плоть... Мне на мгновение представляется, что я стою около своего упавшего тела и смотрю на него, как на совлеченную одежду...

Меня выводит из этого состояния грохот бегущих солдатских ног и неистовый смертью охваченный крик:

— Белые вошли в город!

Нас не успели расстрелять.

Третья часть

Я иду по большой дороге. На мне полу пальтишко, солдатские сапоги с подковками, барашковая шапка. За плечами две сумы. В одной Запасные Дары, Евангелие, деревянная чаша, служебник да требник, а в другой — сапожный инструмент. На груди у меня в особой ладонке антиминс. В руке березовый посох. Я стал священником-странником. Перед отступлением белых меня убеждали за границу бежать, но я отказался.

Ноги мои для ходьбы оказались легкими.

Дни стоят сентябрьские, теплые — бабье лето!

Я остановился на лесном взгорье. Внизу река, поле, даль и дороги. Сильна власть русских дорог! Если долго смотреть на них, то словно от земли уходишь и ничто мирское тебя не радует, душа возношения какого-то ищет... Не от созерцания ли дорог родилась в русском человеке тяга уйти? Все равно куда... в Брянские ли разбойничьи леса или навстречу синим монастырским куполам... только бы идти, постукивая дорожным посохом. Недаром и петь мы любим: «Ах, не одна-то во поле дороженька пролежала».

Земля вечерела. Надо покоя искать. Но куда Господь направит стопы моя?

Проходя вересковыми тропинками, увидал я бревенчатый дом.

— Не приютят ли меня?

Стучу посохом по окну. Никто не откликается. Выбежал откуда-то кот, сел на крыльцо и смотрит на меня. Он кольнул меня скорбным человеческим взглядом. Я погладил его, и он прижиматься ко мне стал и жалобно мяукать.

Еще раз постучал в окно, и опять неоткликаемая и, как мне показалось, нежи-



вая тишина. Я решился открыть дверь. Вхожу в избу. Озираюсь и вижу...

На полу лежит зеленый от зеленых сумерек мертвый человек в холщовой рубахе и солдатских шароварах, босый... Наше чернел медный крестьянский крестик. На волосатой голове кровь в сгустках. Рядом подсвечник с выпавшей свечою и железный шкворень. Я перекрестил усопшего, сходил к колодцу за водою, обмыл его, чин отпевания совершил... Неподалеку, в песчанике, яму вырыл, укутал тело холстиною и волоком вытащил из избы (какая тяга: мертвое человеческое тело — сырая земля!).

Я переночевал в сенях, на соломе. В ногах у меня кот лежал. Со зверем было повадно.

С восходными зорями я дальше пошел. Над полями витает паутина — пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебряной, словно морозная. И до чего это народ русский умильный выдумщик! Ведь надумает же: Богородица прядет пряжу. И все это у него поэзия! И не какая-нибудь, а высокая, духоносная! Вспомнит лишь названия Богородичных икон, ко-

он приукрасил и увенчал: Неувядаемый Цвет, Взыскание погибших, Купина Неопалимая, Нечаянная Радость, Утоли моя печали, Всех скорбящих Радость... А какие слова, песни да присказки! Надо иметь невместимую душу, ширше облака (изъясняясь словами акафиста), упоенную и творящую душу, чтобы все это выразить... Великий он поэт!

...Спускаюсь под гору. Весь я в солнце. Иду и напеваю богородичный канон: «Отверзу уста моя...» И вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами. И воронье над ними. Трупы раздеты и разуты. Никого кругом — широкое в холмах да взгорьях поле. Я отпел убиенных. Посыпал их перстию: «Господня есть земля и исполнение...»

Долго поджидал у дороги людей, чтобы кликнуть их и упросить предать земле усопших. Но на дороге было пусто.

Иду я и ни единого жилья не встречаю, а уже ночь наступает темная да студеная. И ветер поднялся дюжий такой, настоящий степной русский ветер. Никогда такой древней не кажется земля, как при ночном ветре среди поля.



Набрел я на сенной сарай. Ветер был такой силы, что заснуть я никак не мог.

Слушал его и думал о русской земле. Думы мои о ней до того замучили, что я спасался лишь бессчетным повторением вслух от всего спасающей молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Среди ночи рядом со мною кто-то тяжело пошевелился. В шорохе этом что-то звериное было. Я громко спросил:

— Кто здесь?

Никто не откликнулся.

Рано утром я осмотрел все углы сарая и никого не нашел. И сейчас вот размышляю: с кем я ночевал? С зверем ли лесным или с человеком, таящимся, как зверь?

В каждой почти деревне приходилось мне и ребят крестить, и венчать, и земле предавать. Всюду встречали меня с любовью, но и гонений и поношений было немало, но и они шли на пользу. Тоже твои рили чудо!

Был со мною такой случай.

В селе Горелово за устройство духовной беседы в лесу меня арестовали и посадили под замок. Поздно ночью прихо-

дит ко мне в темницу комиссар. Бравый такой мужчина саженого роста. Был он пьянее вина. На ногах чуть держится. Еле володающим языком приказал мне:

— Шагом марш за мною!

Привели меня в большую избу. Вся она полным полна, и все пьяные. На табуретке сидел гармонист. При виде меня он заиграл плясовую.

Комиссар сгреб меня пятерней за волосы, вытащил на середину избы и приказал:

— Пляши!

Пьяные что дети али звери... Я не стал противиться им и пустился в пляс... А когда кончил плясать, то сел на лавку и засмеялся. Вначале ничего смеялся, по-людски, но потом не выдержал и засмеялся с душевным содроганием, с плачем и выкриками... И никак этого смеха не мог удержать...

Когда успокоился немножко, то огляделся я вокруг и вижу: все стоят с опущенными головами и молчат... Есть что-то святое в задумчивости русского человека... Первым не выдержал молчания комиссар. Он это как охнет да восклицет! Гляжу... бух! падает мне в ноги:

— Прости меня, Божий человек!



Мы подняли его. Усадили за стол. Я рядом с ним сел. Поуспокоились немножко. Поставили самовар. Стали меня потчевать. И вот кто-то из них и говорит мне:

— Расскажи что-нибудь душевное... только не про нашу жизнь и не про нашу землю... Если Божьего слова недостойны, то Расскажи хоть сказку!..

Долго, до петушиных вскриков, беседовал с ними. Слушали меня с опущенными головами и вздохами.

На прощание сказал мне:

— Иди своею дорогой, батюшка! Не поминай нас лихом... Мы это... ну... одним словом... Ладно! Чего уж там говорить!..

Большой крест греха лежит на русском человеке...

Во время ночлега моего в одной избе был я самовидцем дикого мужицкого разгула. Пять человек красноармейцев вместе с хозяином — рыбаком Семеном и горбатым сыном его Петрухой глушило самогон. По совести говоря, мне бы уйти отсюда надо, но я остался. В русском разгуле всегда есть что-то грустное, несмотря на видимое безобразие его и содомство, и в разгуле этом чаще всего душа раскрыва-

ется... Почему знать, — раздумывал я, — может быть, понадобится! Бывают же в жизни русского разгульника «смертные часы», когда он не знает, что со своею душою делать. В такие минуты ему утешитель надобен!

Красноармейцы — русские ржаные парни, широколицые да курносые. Когда трезвыми были они, то я любовался ими и думал:

— Хлеб бы им сейчас молотить, снопы возить, по деревенскому хозяйству справляться...

Слова у них жесткие, с выплевками, с матерщиной. Завидев меня в уголке, с каким-то злым харканьем спросили:

— Кто такой?

За меня ответил Семен: бродячий-де сапожник!

— А ну-ка почини мне сапоги! — сказал один из них.

Снял он исхоженные вдрызг сапожонки свои и мне в угол бросил:

— Уплачу! Не бойсь! — прибавил он.

Я сапоги чинить стал, а они к столу присаживаются. Бутылки вынимают. Стали и меня потчевать.



Пригубил я для видимости и сказал:

— Больше, ребята, не угощайте. Сердцем слаб!

Перепились эти молодцы самогону и стали похваляться геройством своим. Много всяких страшных былей они порассказали, но один рассказ потряс меня до смертного окоченения. Рассказывал его крикливым, с провизгом, голосом маленький мозглявый паренек с рыжими кочковатыми бровями:

— Это еще что! — начал он. — У нас дело почище было! Во снах такое не причудится!

При этом он подмигнул сидящему напротив парню с жирными, пропитанными пылью морщинами на широком волосатом лбу:

— Помнишь, как самогоном причащали?

— Ты бы лучше помалкивал бы... — нахмурился другой.

— Не могу! Уж больно это у нас оглушительно получилось!..

— Не рассказывай!.. — хрипнул волосатый.

Расходившийся парень не захотел молчать:

— Дело недавно было. Приехали мы в одно большое село. Там церковь, но законченная. Священника, сказывали, на костре, как борова, опалили... а потом горящую головню в хайло ему запихали...

Да, пустая церковь-то... Слушайте дальше... Это только присказка...

Командиром нашим был Павел Никодимыч Вознесенский... Голова и краснобай! Когда-то в духовной семинарии обучался... На священника, видишь ли, пер!.. Вот однажды, во время самого ненасытного пьянства нашего, поднимается Павел Вознесенский и во весь широкий голос свой объявляет:

— Товарищи! Хотите, штуку разыграю над деревенскими дураками? — а сам это по-волчьи зубы скалит, и огонь в глазах этакий у него... погибельный!..

— И для ча ты рассказываешь, туз бубновый? — опять перебил его волосатый, приходя в гневное волнение.

— Помалкивай!.. Так-с. Хотите, говорит, штуку разыграю?

Мы, конечно, спрашиваем:

— Каку таку штуку, Павел Никодимыч?



— А вот какую! — грохнул он по столу кулачищем. — Завтра обедню служить в церкви буду и народ причащать... самогоном!..

Мы это немножко побледнели и дрогнули, ну а потом, разошедши... все стало нипочем! Одним словом, «леригия опиум» и тому подобное... Чего уж там!.. Плевать с высокого дерева!..

На другой день, часиков это около десяти, один из наших в колокол ударил... Село-то ка-ак всколыхнется — звонят-де! Дивуются. Что такое?

Мы объявляем, что-де власть, идя навстречу народу, разрешила Бога и даже попа прислала... Пошло в народе ликование. Валом повалили в церковь... Плачут от радости... Иконы в церкви целуют, цветами их украшают... Пыль с них смахивают...

Павел Никодимыч в ризы облачился, все как есть, по чину... Хор собрали из знающих... Старый дьячок припер...

Обедня у нас идет такая, что все в церкви ревмя ревут...

Волосатый парень, все время бросавший на рассказчика гневные взгляды,

вдруг не выдержал, задрожал, побледнел и надсадно крикнул:

— Замолчи, сволочь!..

Прокричав эти слова, он обессилел как-то, повалился на скамью и сразу же захрапел пьяным, всхлипывающим сном.

Наступило маленькое перетишье.

— Ну, и что же, причастил? — косясь на спящего, шепотом спросил горбатый.

— Да, причастил...

Парень уж стал говорить тише и, видимо, с душевным смятением, стараясь побороть его лихостью глаз.

— Вот это, причастивши-то... выходит Вознесенский говорить проповедь... Господи Иисусе!.. Что было-то!.. Стал он крыть по матушке и Господа, и Матерь Его, и всех святых... Я от страха и дрожи стоять не мог... Так и пригнуло меня к полу... А народ-то!.. Господи! Что с народом-то стало!..

Тут парень призакрыл глаза, съежился и несколько раз вытер со лба пот рукавом шинели. Лицо его задергалось, зубы застучали, и руки заходили ходуном...

— Ежели не можешь, то не рассказывай... — посоветовал рыбак, тоже не зная, куда девать себя от волнения.



— Нет, надо досказать! — заупрямился парень, приходя в полубезумный раж. — Не могу не досказать!.. На чем это я остановился? Да! Народ это... Видали, как ураган крыши срывает да горы сокрушает?.. Так вот и народ!.. Ка-ак это бросился он на Вознесенского!.. Подмяли под себя да с хрипом, воем, ревом почали его сапогами, да кулаками, да подсвечниками по черепу, по груди да по всему хрусткому... до самого мозга, до внутренности... до кишок этих! Все иконы мозгами да кровью забрызгали!..

Парень охнул, закачался со стороны на сторону и попросил воды.

— Ну, а потом что? — с неумолимой жестокостью допытывался горбатый, став как бы безумным от страха и любопытства.

— Мало тебе, горбатому черту, рассказали? — накинулись на него остальные, сидевшие до сего времени как бы неживые.

— Потом что? — взяв опять крикливый тон, заговорил парень. — Вызвали пулеметную команду да по народу... тра-та-та-та... За бунт и возмущение против власти!.. Душ пятьдесят, не считая раненых... в расход вывели...

Пить никто не хотел. Они долго сидели нахмуренными, а потом все стали расходиться.

Сапог я не мог починить. Мое сознание держалось на тонкой паутинке. Колыхнись она немножко, и я стал бы безумным.

Иду берегом Волги, по древней Тверской дороге. Осень не витает уж легкой солнечной паутиной, а исходит ветрами и неумными дождями. Ноги мои вязнут в грязи. Руки и лицо мое леденит колючий предзимник. Земля потемнела. Идти тяжело. Никакого жилья не видно. Стала доносить меня слабость. Кружилась голова, и подкашивались ноги. Старался приободрить себя и трунил над собою: «Что же это ты, отец Афанасий, сдаешь? А ну-ка, ну-ка, с ветром в ногу... встряхнись... поспешай!.. раз, два, три!..»

Но как ни ободрял себя, пришлось мне сесть на придорожный камень и забиться...

Долго ли я был в забытьи — не ведаю, но только почувствовал: кто-то поднимает меня и сажает на телегу. Помню, что вся земля закружилась перед глазами, словно граммофонная пластинка.



В тягостном, черном бреду я все время видел, как комиссар Вознесенский причащал народ самогоном, и как будто бы вместе с разъяренным народом я бил его чем-то холодно-тяжелым по всему хрусткому, а потом прятался в каких-то черных садах и тосковал и плакал о преступлении своем... Но больше всего меня мучило бесчисленное количество белых сверкающих рук, старавшихся сорвать с груди моей священный антиминс...

Больше двух месяцев находился я между жизнью и смертью.

Сидел на полатях, рассматривал руки свои, и мне жалостно было смотреть на них — желтые и ломкие, как свечи в морозном храме... И думал о себе, покивая главою: слабый все же я человек!.. Не могу закалить себя, вооружиться крепостью и мужеством... Если бы не рассказ о причащении самогоном, может быть, ничего и не случилось бы... Слишком это страшно было, слишком не по силам мне, немощному!

Меня, оказалось, подобрали на дороге неподалеку от села местные крестьяне. Сам хозяин — нестарый чернобородый

мужик с иконными глазами и жена его — маленькая исхудавшая женщина с испуганным взглядом (взгляд большинства русских женщин в наши дни). Черно и бедно было в избе. Обхаживали они меня, как сына родного, и ночами не спали. Когда я поправился немножко, то хозяева подошли ко мне под благословение. В удивлении спросил их:

— Откуда вы знаете, что я священник?

— Из твоего бреда узнали!..

Ввиду наступающих холодов упросили меня у них пока остаться. Однажды говорит мне хозяин:

— Отслужи ты нам Божию службу! Утешь страждущих. В церкви-то нельзя, народный дом там, а мы уж в овин соберемся. Все у нас будет в молчании...

Ночью привели меня в темный, дымом да копотью пахнувший овин на глухих задворках. При свете свечей заметил я, что все здесь было прибрано и вычищено. На столе, покрытом скатертью, стояли иконы и перед ними три лампы. Человек двадцать пришло на молитву. Отслужил я им всенощное бдение, а потом беседовал с ними. По привычке своей



всем в глаза смотрел. Хороши русские глаза на молитве! Мироотречение в них и образ Божий...

Окреп я немножко, исполнил дело свое, распрощался и тронулся дальше.

Земля пахла морозом, но снега еще не было. От вечернего морозного зарева небо и земля казались медными. И тишина была, словно отлитая из меди, ударить по ней — и зазвучит. Деревня, часовня на горе, черные бревенчатые бани, похожие на Гостомыслову Русь, запах дыма.

У околицы стояла маленькая сторбленая женщина в тулупе, черном монашеском платке, в тяжелых деревенских сапогах. Она облокотилась на березовую изгородь и смотрела на большую дорогу.

Я подошел к ней и окликнул ее приветствием.

Она вскинула на меня странные, болью какой-то пронзенные глаза свои и улыбнулась неживой улыбкой.

— Ты откуда? — показала она озябшей рукою на пройденную мною дорогу.

— Да. К вам в деревню иду!

— Так-так... А ты деток моих не встретил?

— Нет, никого не видел.

Она приложила руку к щеке и по-бабы запечалилась:

— Жду их, пожду, а они не приходят!

— Куда же они пошли?

— Воевать пошли с белыми!.. Люди сказывают, что они убиты, а я не верю. Врут люди!

Подула на свои окоченевшие пальцы и стала смотреть на дорогу.

— Должны придти, — шептала она, смотря вдаль, поверх дороги, — я ведь старая и скоро помереть должна... да и голодно мне и зябко... Куда это они запропались, баловники такие?

Завидев кого-то вдали, она исступленно-радостно вскрикнула, сорвалась с места и побежала навстречу, вскидывая вперед озябшие руки.

— Идут, идут! — кричала она. — Детки мои! Родненькие!..

В деревне мне рассказали, что женщина эта помутилась в разуме, когда узнала о расстреле своих сыновей. С этого времени во всякую погоду она выходит за околицу встречать их и каждого встречного спрашивает:



— Не видели ли вы деток моих?

В морозно-солнечный день я направлялся навестить один тайный монастырь. На лесной дороге встречаю трех стариков. В тулупах, бородатые, с котомками через плечо, с лесинами в руках, в валенках. Я спросил их:

— Куда Бог несет?

Не отвечая сразу на вопрос, приземистый, с желтым стариковским взглядом, путник обратился ко мне:

— Не из священников ли будешь, желанный?

Я ответил утвердительно. Вопросивший меня обрадовался и с тихим довольством посмотрел на спутников.

— А ведь угадал я, старики? Говорил же вам, что это батюшка! Я, желанный, — улыбнулся мне зазябшим лицом, — издали признал, что ты из духовных! Пословица-то не зря молвится: попа и в рогожке спознаешь!

Подшли ко мне под благословение и стали рассказывать:

— Мы, батюшка, в Москву идем!.. С Боге хлопотать!

— Как так?

— Да так, чтобы это Бога нам разрешили и всякие гонения воспретили... А то беда!

Говорят спокойно, по-крестьянски кругло, и только в глазах их как бы блуждание и муть.

— Шибко стали Бога поносить! — сказал сторбленный старик, опираясь двумя руками на посох в страннической покорности. — Жалко нам Его... Терпеть невозможно!..

— Ведь до чего дошло?! — перебил его другой, с косыми глазами и впалыми забуревшими щеками. — Миколаха Жердь из нашего посада анкубатор для выводки цыплят сделал... из дедовских икон! Говорит Миколаха, что они, иконы-то, подходящие для этого, так как толстые, вершковыые, а главное — дерево сухое!..

— А внук мой Пашка из икон покрывку сделал в своем нужнике... — задыхаясь, прошамкал беззубый тихий старик, весь содрогнувшись.

Спрашиваю их:

— Кому же вы жаловаться будете в Москве?

— Как кому? Ленину! Ильичу то исть!..



— Да он помер...

— Это мы слышали, но только не верим! Нам сказывали, что он грамоту такую объявил, чтобы не трогать больше Бога...

Я чуть не заплакал.

Застывшая в глазах моих боль заставила стариков на время задуматься. Что-то поняли они. Растерянно взглянули друг на друга и на меня посмотрели.

— Ну, а ежели не найдем Ленина, так к самому патриарху пойдем, — заявил желтоглазый старик. — Пусть он рассудит и анафемой безбожникам пригрозит... Патриаршая-то анафема дело не шуточное... Убоятся!..

— И святейшего патриарха нет в живых!..

Они не удивились, сняли шапки и перекрестились, сказав шепотом: «Царство ему Небесное!»

Глаза стариков гуще налились мутью.

— А Калинин-староста жив? Ну, так мы к нему пойдем... Он нас приветит!

Вначале тихо, а потом все горячее и горячее я стал убеждать их не делать этого, вернуться к себе, терпением препоясаться и ждать Божиего суда.

— Не можем! — с земляным упорством заявили они и даже рассердились на меня.

— Сто верст пешком прошли! — взвизгнул один из них. — Сам Господь идет с нами рядышком... а ты... вернуться!

— На смерть идете! — сказал я в отчаянности.

Только улыбнулись тихо так: «что нам смерть!», поклонились мне и пошли вперед степенным деревенским шагом. Долго слушал я хрустень морозного снега под их валенками.

Я проходил мимо оскверненных храмов, сожженных часовен, монастырей, превращенных в казармы и торговые склады, был свидетелем надругательства над мощами и чудотворными иконами, соприкасался со звериным ликом человека, видел священников, ради страха отрекавшихся от Христа... Был избиваем и гоним не раз, но Господь помог мне все претерпеть и не впасть в уныние. Да разве могу я ослабнуть духом, когда вижу я... сотни пастьерей идут с котомками и посохами по звериным тропам обширного российско-го прихода. Среди них были даже и епис-



копы, принявшие на себя иго апостольского странничества... Все они прошли через поношение, заключения, голод, зной и ледяной ветер. У всех были грубые обветренные лица, мозолистые руки, рваная одежда, изношенная обувь, но в глазах и в голосе сияние неизреченной славы Божией, непоколебимость веры, готовность все принять и все благословить...

При встрече кланялись земно друг другу, обнимались, тихо беседовали среди поля или леса. На прощание крестили друг друга и расходились по разным дорогам...

Молился я в потаенных монастырях, где подвизались иноки из бывших отрицателей и поносителей имени Божиего.

Видел иноков в миру, всегда готовых поделиться Богом с неимущими Его и тоскующими по Нему. Был очевидцем великого раскаяния русского человека, когда он со слезами падал в дорожную пыль и у каждого встречного просил прощения.

Видел власть имущих, которые в особой ладонке носили на груди частицу иконы или маленький образок и потихоньку, яко Никодим в нощи, приходили ко мне за утешением.

Знаю одного из них, который хранит в чулане иконы отцов своих и в моменты душевного затемнения затепляет перед ними лампаду и молится...

Видел запуганных отцов, заявлявших мне: сами-то мы безбожники, а детей наших выучи закону Божиему, чтобы они хулиганами не стали... И в большой тайне у многих из этих отцов я учил детей их... Слышал и новые народные сказания о грядущем Христовом Царстве, о пришествии на землю Сергия Радонежского и Серафима Саровского, о Матери Божией, умолившей спасение русской земле.

Не одну сотню исповедей выслушал я (и страшные были эти исповеди), и все кающиеся готовы были принять самую тяжкую епитимию и любой подвиг, чтобы не остаться вне чертога Господня.

Вся русская земля истосковалась по Благам Утешителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все чают Христово утешения.

Я иду к ним, пока сил хватит, и крепко еще обнимает рука мой дорожный посох.



Из воспоминаний детства

Крещение

1.

В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с неба ангел и освятит на реке воду, и она запоет: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не поверил и обозвал меня «баснописцем». Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили: — О чем кувываешь?

— Гри-и-шка не верит, что вода петъ бу-дет сегодня ночью! — Из моих слов ничего не поняли. — Нагрешник ты, нагрешник, — сказали с упреком, — даже в Христов сочельник не обойтись тебе без драки!

— Да я же ведь за дело Божье вступился, — оправдывался я.

Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с бож-

ницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня: — Знаешь, как прозывается по-древнему богоявленская вода? Святая агиасма!

Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:

— Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год.

В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет — точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебря-



ная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой»...

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово «вода». Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо и ветер, развевающий их седые волосы...

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.

— Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздаётся, а Гришка не верит... Плохо ему будет на том свете!

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.

Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя... Тебе поет

солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает свет...»

После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иордане крещающуся Тебе Господи, тройческое явился поклонение», и всех окропляли освященной водою.

От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье, и все будет по-хорошему, как в день ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а мать пяточком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед возжженным светильником, и священник сказал народу:

— Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.

Так же, как и на Рождество, в доме держали «дозвездный пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу — на вечерницу. Печеную картошку ели с со-



лью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнувшие укропом огурцы и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к иорданскому всенощному бдению. Началось оно по-рождественскому — великим повечерием. Пели песню: «Всяческая днесь да возрадуется Христу явльшуся во Иордан» и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.

После всенощной делали углем начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах — в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладким и многоводным, а девушки «величают звезды». Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несет пирог, якобы в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривает:

— Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира крещеного, для пира гостиного, для красной девицы родимой.

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоет полнощная вода...

Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер гудит в березах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном «численнике» покажется красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление». Завтра пойдем на Иордань!

Кануны Великого поста

2.

Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая — государыня масленица будет метельной! Прошел апостол Тимофей полузимник; за ним три вселенских святителя; св. Никита, епископ Новгородский, — избавитель от пожара и всякого запаления; догорели восковые свечи Сре-



нения Господня — были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого наверхия, морозы стоят словно медные, по ночам метель воеет, но на душе любо — прошла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и березовые сержки. Сердце похоже на птицу, готовую к полету.

В лютый мороз я объявил Гришке:

— Весна наступает!

А он мне ответил:

— Дать бы тебе по затылку за такие слова! Кака тут весна, ежели птица на лету мерзнет!

— Это последние морозы, — уверял я, дуя на окоченевшие пальцы, — уже ветер веселее дует, да и лед на реке по ночам воеет... Это к весне!

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом:

— Бежит время... бежит... Завтра наступает неделя о мытаре и фарисее. Го-

товьтесь к Великому посту — редька и хрен, да книга Ефрем.

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост — это весна, ручьи, петушиные вскрики, желтое солнце на белых церквах и ледоход на реке. За всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели покаянную молитву:

«Покаяния отверзи ми двери. Жизнодавче, утреннует бо дух мой ко храму Святому Твоему».

С Мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она уже становилась неугасимой. По средам и пятницам ничего не ели мясного. Перед обедом и ужином молились «в землю». Мать становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода Велико-го поста я спешил взять от зимы все ее благодатности, катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчи-чьих санок, сосал льдинки, спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она называлась по-церковному — неделя о Блуд-



мом сыне. За всеобщей пели еще более горькую песню, чем «Покаяние», — «На реках Вавилонских».

В воскресенье пришел к нам погреться Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих «Плач Адама»:

*Раю мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.*

Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с поводьями. Прозывались они Божьими певунами. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бывало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе архангела, об Иоасафе — царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспомнила:

— Мастерница была петь духовные стихи! До того было усладно, что, слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения!..

— Когда-то и я на ярмарках пел! — отзывался Яков, — пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное.

Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильный крест с себя сметет! Все дело забудет. Опустит, бывало, голову и слушает, а слезы-то по лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный жулик и арестант!

— Теперь не те времена, — вздохнула мать, — старинный стих повыветрился! Все больше фабричное да граммофонное поют!

— Так-то оно так, — возразил Яков, — это верно, что старину редко поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексея, человека Божия, или там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют! Потому что это... русскую в этом стихе услышат... Прадеды да деды перед глазами встанут... Вся история из гробов восстанет!.. Да... От крови да от земли своей не убежишь. Она свое возьмет... кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался мне знаменем весны — она всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! Я сказал про это Гришке, и он опять выругался.



— Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне со своей весной хуже горькой редьки!

Наступила неделя о Страшном Суде. Накануне поминали в церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зерен — в знак веры в воскресение из мертвых. В этот день церковь поминала всех «от Адама до днесь усопших в благочестии и вере» и особенное моление воссылала за тех, «коих вода покрыла, от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами убитых, молнией попаленных, зверьми и гадами умерщвленных, от мороза замерзших...» И за тех «яже уби меч, конь совосхити, яже удави камень, или персть посыпа; яже убиша чаровныя напоения, отравы, удавления...»

В воскресенье читали за литургией Евангелие о Страшном Суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или отдаленные раскаты грома.

Во мне боролись два чувства: страх перед грозным Судом Божиим и радость от близкого наступления масленицы. Последнее чувство было так сильно и буй-

но, что я перекрестился и сказал: — Прости, Господи, великие мои согрешения!

Масленица пришла в легкой метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудреные, но завлекательные слова:

«Кинематограф «Люмьер». Живые движущиеся фотографии и кроме того блистательное представление малобариста геркулесного жонглера эквилибриста «Бруно фон Солерно», престижжигитатора Мюльберга и магико спиритическ. вечер престижжигитатора, эффектиста, фантастического вечера эскамотажа, прозванного королем ловкости Мартина Лемберга».

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бедные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испеченный блин она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много рассказывала о деревенской масленице, и я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там все было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался — встреча; вторник — заигрыши; сре-



да — лакомка; четверг — перелом; пятница — тещины вечерки; суббота — золовкины посиделки; воскресенье — проводы и прощенный день. Масленицу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гуленой, Красавой. Пели песни, вытканые из звезд, солнечных лучей, месяца-золотые рожки, из снега, из ржаных колосков.

В эти дни все веселились, и только одна церковь скорбела в своих вечерних молитвах. Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Наступило прощенное воскресенье. Днем ходили на кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви после вечерни священник поклонился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите, Христа ради», и на это отвечали: «Бог простит». В этот день в деревне зорнили пряжу, т. е. выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста.

Снился мне грядущий Великий пост, почему-то в образе преподобного Сер-

гия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на черный игуменский посох.

Моржество Православия

3.

Отец загадал мне мудреную загадку: — «Стоит мост на семь верст. У конца моста стоит яблоня, она пустила цвет на весь Божий Свет».

Слова мне понравились, а разгадать не мог. Оказалось, что это семинедельный Великий пост и Пасха.

Первая неделя поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел пять, и дьякон, державший блюдо, сказал мне: — Не многовато ли будет? — Я поперхнулся от смущения и закашлялся. В эти бо-



спасенные дни (так еще называли пост) я часто подходил к численнику и считал листики: много ли дней осталось до Пасхи?

Перелистал их лишь до Великой субботы, а дальше уж не заглядывал — не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока?

Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова:

*Возсия благодать Твоя, Господи,
возсия просвещение душ наших;
отложим дела тьмы,
и облечемся во оружие света:
яко да преплывше поста великую пучину.*

Все чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам «Сокровище духовное от мира собираемое» св. Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими, как бисерным кошелечком, вышитым в женском монастыре, и подаренным мне матерью в день ангела:

«Как купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и сокрывает их: так христианину можно от мира сего собирать душеполез-

ные мысли, и слагать их в клетки сердца своего, и теми душу свою созидать».

Многое что не понимал в этой книге. Нравились мне лишь заглавия некоторых поучений. Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтешь, например: «Мир», «Солнце», «Сеятва и жатва», «Свеща горящая», «Вода мимотекущая», а мать уж и вздыхает:

— Хорошо-то как, Господи!

Отец возразит ей:

— Подожди вздыхать... Это же «зачин».

А она ответит:

— Мне и от этих слов тепло!

Читаешь творение долго. Закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь ее. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердит только одни ей полюбившиеся, заглавные слова:

— Свеща горящая... Вода мимотекущая...

Наш город ожидал два больших события: приезда архиерея со знаменитым протодьяконом и чин провозглашения анафемы отступникам веры.

Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась



ришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе, и в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви: «с проклятыицем, ма-тушка». При слове «анафема» мне поче-му-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дым-ную бездну.

День этот был мгlistым, надутым сне-гом и ветром, готовый рассыпаться тяж-кой свинцовой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надо понимать как проклятие, я все же стоял в церкви со страхом.

Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал двенадцать священников и четырех дьяконов.

Шествие замыкал высокий, дородный протодьякон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору, как большая туча по небу, вьюжно шумя синим своим стихарем, опоясанным серебряным двойным ора-рем. Крепкая медная рука с литыми длин-ными пальцами держала кадило.

Про этого протодьякона ходила молва, что был он когда-то бурлаком на Волге и

однажды, тяня бечеву, запел песню на все волжскою поволье. Услыхал эту песню проезжавший мимо московский митропо-лит. Диву он дался, услышав голос такой редкостной силы. Владыка повелел поз-вать к себе певца. С этого и началось. Бур-лак стал протодьяконом.

На колокольне затрезвонили «во вся тяжкая» колокола. К собору подкатила ка-рета, из которой вышел сановитый монах в собольей шубе, опираясь на черный вы-сокий посох. Лицо монаха властное, хму-рое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке.

В это время загрохотал как бы великий гром. Все перекрестились и восколеба-лись, со страхом взглянув на медного про-тодьякона. Он начал возглашать:

— Достойно есть, яко воистину... — К его возгласу присоединился хор, запев волнообразное архиерейское «входное», поверх которого шли тяжелые волны про-тодьяконского голоса: — И славнейшую без сравнения серафим... — Два иподья-кона облачали епископа в лиловую ман-тию. Она звенела тонкими ручьиными бубенчиками.



Это была первая торжественная служба, которую я видел, и мне было радостно, что наше православие такое могучее и просторное. Недаром сегодняшний день назывался по-церковному «Торжеством Православия».

Епископа облачали в редкостные ризы посредине церкви, на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившиеся мне слова: — Да возрадуется душа Твоя, о Господи!.. — Все это было мне в диковинку, и Гришка несколько раз говорил мне:

— Закрой рот! Стоишь, как ворона!

— А у тебя сопля текет! — разъярился я на Гришку, толкнув его локтем.

— Чего это вы тут озоруете? — зашипел на нас красноносый купец Саморядов. — Анафемы захотели?

Но купец Саморядов сам не выдержал тишины, когда протодьякон грянул во всю свою волговую силу:

— Тако да просветится свет Твой пред человеки!..

Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул:

— Вот так... голосище!.. Чтоб... его...

Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался; закрыл ладонью рот и стал часто креститься.

На купца взглянули и улыбнулись.

Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протискаться вперед, но меня не пускали и даже бранили:

— И что это за шкет такой беспокойный!

— Пустите сорванца вперед, а то все мозоли нам отдавит!

Меня выпихнули к самому амвону, где стояли почетные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом.

Я смотрел на «золотое шествие» духовенства из алтаря на середину церкви при пении «Блажени нищие духом», на выход епископа со свечами, провозглашавшего над народом моление «Призри с небеси, Боже» и осенявшего всех нас огнем, — а в это время три отрока в стихарях пели: «Святой Боже, святой Крепкий, святой Бессмертный помилуй нас», — на всенародное умошение рук епископа перед Великим выходом при



ении: «Иже херувимы тайно образующе», и все это при синайских громах протодьяконовского возношения.

Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения.

Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал:

— Успокойся, милый, успокойся!

Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали ектению о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного.

В окна собора била вьюга. Все люди стояли потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури.

После молитвы о просвещении святом всех помраченных и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодьякон и положил тяжелые металлические руки на высокий черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, пере-

крестился широким взмахом и всею силою своего широкого голоса запел прокимен:

— Кто Бог великий яко Бог наш, Ты еси Бог творяй чудеса!

Как бы объятый огнем и бурей, протодьякон бросал с высоты восходницы огненное, страшное слово: анна-фе-мма!

И опять мне представилась гора, с которой падали тяжелые черные камни в дымную бездну.

Все отлучаемые от Церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, Церковь пела трижды великоскорбное и как бы рыдающее:

— Анафема, анафема, анафема! — Церковь жалела отлучаемых. В этот мглительный вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодьяконской медью:

«Отрицающим бытие Божие — анафема!

Дерзающим глаголати яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог — анафема!

Не приемлющие благодати искупления — анафема!

Отрицающие Суд Божий и воздаяние грешников — анафема!..»



Жалко их... Господи!

Великая суббота

4.

В этот день, с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолеченных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому:

— Иди лучше к обедне! — выпроваживала меня мать. — Редкостная будет служ-

стешь, то такую службу поминать будешь...

Я зашел к Гришке, чтобы и его позвать в церковь, но тот отказался:

— С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?

В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников.

До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах:

— Дивен Бог во святых Своих, — выкруглял он тернистые слова. — Возьмем к примеру преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем 19 января... Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала...



— Что за притча? — думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его, и совершилось чудо: медвежонок прозрел!

— Скажи на милость! — сказал кто-то от сердца.

— Это еще не все, — качнул головою старец, — на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою...»

Литургия Великой Субботы воистину была редкостной.

Она началась, как всеобщее бдение, с пением вечерних песен. Когда пропели «Свете тихий», то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую воском закапанную книгу.

Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках,

провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение, Воскресение... Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: — Господа пойте, и превозносите во вся веки...

Это послужило как бы всполощным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршит нотами и грянули волновым заплеском:

— Господа пойте, и превозносите во вся веки... — Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликнул сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканные глаголы».

*Благословите солнце и луна
Благословите дождь и роса
Благословите нощи и дни
Благословите молнии и облацы
Благословите моря и реки
Благословите птицы небесныя
Благословите звери и вси скоти.*

Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию:

— Благословите звери!..



«Поим Господеви! Славно-бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканых глаголах: Господа пойте, и превозносите во вся веки!

После чтения «апостола» вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели:

«Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследииши во всех языцех».

Во время пения духовенство в алтаре извлячало с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их белую серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери...

Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог.

— Надо рассказать матери... сейчас же!

Прибежал запыхавшись домой и на пороге крикнул:

— В церкви все белое! Сняли черное, и кругом — одно белое... и вообще Пасха!

Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:

*Да молчит всякая плоть
Человеча и да стоит со страхом
и трепетом и ничтоже земное в
себе да помышляет.*

*Царь-бо царствующих и Господь
Господствующих приходит заклатися
и датися в снедь верным...*

Иванушка

5.

Умирал братец мой Иванушка. Ему было шесть лет. В больших муках умирал он. По деревенскому обычаю, положили его под иконы, чтобы Господь облегчил его... Была пасхальная ночь. Отец к Светлой заутрени пошел, и братец все время спрашивал нас:



— А тятя скоро придет? Красное яичко... мне обещал...

Мать утешала его:

— Придет, садик мой, придет... Теперь уж скоро...

Личико его то затуманивалось то вспыхивало тихими зорниками. Он постоянно ручки тянул к нам, словно на ручки просился.

Он приподнял головку и к чему-то прислушиваться стал. Слушал долго, а потом сказал:

— Мама! Воробушки скачут!

В комнате прозвенело что-то похожее на упавшие стеклянные бусинки — это Иванушка засмеялся в бреду.

И стал он опять тосковать и метаться по постельке.

— Мама! Распутай нитки у меня на грудке...

Мать гладила его грудку и, как нищая на церковной паперти, стала всхлипывать:

— Вот... я ниточки распутываю... вот так... Будет Иванушке вольготно... Вот так!..

Вдруг братец опять приподнялся и радостно закликал:

— Тятя идет!

Мы ничего не слышали — бредит Иванушка. Я посмотрел в окно. В конце улицы, в рассвете пасхального утра шел отец.

Только что он показался в дверях, Иванушка ручки вскинул навстречу, а ручки сухенькие и словно серебряные при металлическом утреннем свете. Эта серебряность особенно потрясла меня. Не в этой ли серебряности тела — смерть?

Отец взял Иванушку на руки, похристосовался с ним и стал носить его по комнате. Дали Иванушке красное яичко, но он не удержал его в ручке, и оно покатилося по полу. Глазами «большого» посмотрел на него и заплакал.

Положили Иванушку на постельку. Он закрыл глазки, а потом хрустнул горлышком, как речная тростинка, когда ее в руке сожмешь, и по-страшному затих...

Лицо матери стало серебряным. Отец послушал Иванушку и перекрестил его, сказав: Царство Небесное!..

В течение трех дней приходили кланяться Иванушке сродственники наши, соседи... На Иванушку смотрели тихими церковными глазами:

— Ангельская душенька!



Тетка Прасковья сказала:

— Сейчас Господь за ручку его водит и сады Свои показывает...

Я представлял себе, как Господь водит Иванушку по небесным дорогам. Он говорит Иванушке так же, поди, воркотно и светло, как соборный батюшка отец Владимир: «Вот и хорошо, родненький, что ко Мне пришел!.. Так, так, Иванушка... Ты уж того... побегай, поиграй!.. Радуйся в саду Моем во веки веков...»

Говорит ему Господь... и по головке гладит Иванушку, и благословляет его пронзенными распятием руками, а Иванушка к белой одежде Господа головкой прижимается...

Представил я это до того живо и трогательно, что и самому захотелось помереть.

Стал я вспоминать нашу с Иванушкой жизнь. Все в ней как будто бы хорошо было, но вот однажды попросил он у меня волчка, а я пожадничал и не дал ему... Стало мне очень горько. Тут впервые в жизни я понял, что за муки страшные — угрызение совести!..

Положили братца в белую храмину (не хотела мать произносить слова «гроб»).

Пришел нищий Яков и для назидания и утешения нашего прочитал из Евангелия главу, где говорилось о Христе, благословляющем детей, и о наследии ими Царства Небесного.

Я незаметно положил под изголовье Иванушки волчка и тихо сказал:

— Ты прости меня... я не знал, что ты помрешь...

На третий день Пасхи понесли братца хоронить. В церкви украсили лобик его золотым венчиком с надписью «Святой Боже» — в знак упования, что и там... увенчает его Господь венцом небесным. На панихидный столик поставили кутью из зерен — как зерно с виду мертвое, но брошенное в землю, восстает к жизни, так и мертвое тело воскреснет при трубе архангела.

Отпевали Иванушку по-особенному, по пасхальному чину, радостно, в белых ризах, с пасхальной серебряной свечой. Отправляли братца в дорогу с сердцем легким и мирным, без нахмуренной скорби. Читали и пели хорошие легкие слова и часто, часто повторяли:

— Господи, упокой младенца!



«Небесных чертогов и светлого по-
коя... причастника сотвори чистейшего
младенца...»

«Рая жителя ты показывает, блаженный,
воистину младенче... Ликом святых счи-
няет тя...»

Сравнивали Иванушку «с младым зла-
ком», Господом пожатым, чтобы возвести
его от земли на божественную гору.

— О мне не рыдайте, — говорил бра-
тец словами исходной песни, — а ра-
дуйтесь...

Наступило «последнее целование».
Мы прощались с Иванушкой, целовали
лобик его, освещенный солнцем, а в это
время пели:

— О чадо! Кто не восплачет зря твое
ясное лицо увядаемо...

Якоже бо корабль следа не имый, сице
зашел еси от очию скоро...

Священник сказал:

— Вечная твоя память, достоблаженне
и приснопоминаемый младенче Иоанне...

Все было в церковном дыму и в солн-
це. В причтовом саду летали птицы. Они
садились на старые деревья, и ветки ка-
чались.

Посыпали Иванушку землей и сказали:
— Господня есть земля, и исполнение
ея, вселенная и вси живущия на ней...

Мы были люди бедные и никак не ду-
мали, что батюшка скажет надгробное
утешительное слово, но батюшка пожалел
нас и сказал проповедь, в которой очень
понравились слова:

— Блаженно детство: оно наследует рай!

Мать обносила кутью и каждому го-
ворила:

— Помяните младенца!

Брали ложечку кутьи, крестились и от-
вечали:

— Помяни, Господи, ангельскую ду-
шеньку!..

А когда выносили гробик из церкви, то
над всем городом трезвонили пасхальные
колокола, все снимали шапки, встречные
офицеры и даже городовые отдавали Ива-
нушке честь. Я подумал:

— Хорошо бы и мне помереть!

Когда опускали Иванушку в яму и так
крепко, словно деревенским ржавым хле-
бом, запахло землей, освещенной пас-
хальным солнцем, я пожалел Иванушку:

— Пожил бы ты еще, милый братец!



Я бросил на крышку гроба горсточку земли «на легкое ему лежание». Пальцы мои пахли землей, и я почти с криком подумал:

— Земля-то как хорошо пахнет, а братца моего нет!

Радуница

6.

Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радуница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквах служат заупокойную утреню. Она не огорчает, а радует. Все время поют «Христос воскрес», и вместо «надгробного рыдания» раздается пасхальное: «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне».

Заупокойную литургию называют «обрадованной». В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для розговен усопших. Радуница — Пасха мертвых!

Хорошее слово «радуница»! Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса, в корзинке из ивовых прутьев.

И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять отдельно и со смыслом одно только слово, и уже все видишь и слышишь, что заключено в нем. Как будто бы и короткое оно, но попробуй, вслушайся... Вот, например, слово «ручеек». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: ручеек журчит между камешками!

Или другое слово — зной. Зачнешь долго тянуть букву «з», то так и зазвенит этот зной наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору.

Произнес я слово — вьюга, и в ушах так и завывало это зимнее, лесное: ввв-и-ю...



Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд — гром, и я сразу услышал громовой раскат за лесною синью.

В день Радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством:

— Хорошо быть русским!

Мы пошли на кладбище.

Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений:

*Со духи праведных скончавшихся.
Воскресение день просветимся людие.
Смертию смерть поправ...
Вечная память...*

На многих могилах совершались «поминки». Пили водку и закусывали пирогами. Говорили о покойниках как о живых людях, ушедших на новые жилые места.

Остановившаяся у родных могил, трижды крестилась и произносила: Христос воскрес!

Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало.

— Жизнь бесконечная... Все мы воскреснем... Все встретимся... — доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына.

Между могил с визгом бегали ребята, играя «в палочку-воровочку». На них шикали и внушали: «не хорошо», а они задумаются немножко и опять за свое.

Батюшка Знаменской церкви отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему дьякону:

— Ишь они, бессмертники!...

— Да шумят уж очень...

— Нехорошо это... на кладбище...

— Пусть шумят... — опять сказал батюшка, — смерти празднуем умерщвление!..

На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок, окружавшим его людям:



— Поминальные дни суть: третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды...

— Это мы знаем, — сказал кто-то из толпы.

— Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому, чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом.

В течение двух дней душа вместе с ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих и бывает подобна птице, не имущей гнезда себе, а на третий возносится к Богу.

— А в девятый? — спросила баба.

— В этот день ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных...

В это время пьяный мастеровой в зеленой фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил старика:

— А как же пьяницы? Какова их панида?

— Пьяницы Царствия Божия не наследуют! — отрезал старик, и он мне сразу не понравился. Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть язык старику, сказать ему «старый хрен», но в это время заплакал пьяный мастеровой:

— Недостойные мы люди... — всхлипывал он, — мазурики! И за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гефсиманском и на крест пошел вместе с разбойниками!..

Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: слезы да покаяние двери райские отверзают...

Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал, как пристав:

— Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать... греховодник!

...В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится опять к Богу и получает место до Страшного Суда Божия...



— И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком? — думал я. — Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое ее слово светиться будет... Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи... чтобы они драгоценным камнем стали...

Мимо меня прошли две старухи. Одна из них, в ковровом платке поверх салопы, говорила:

— Живет, матушка, в одной стране... птица.. и она так поет, что, слушая ее, от всех болезней можно поправиться... Вот бы послушать!..

Время приближалось к сумеркам, и Радунца затихала. Все реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки.

— Христос воскрес из мертвых...

Отдание Пасхи

7.

В течение сорока дней в церкви поют «Христос воскрес».

— В канун Вознесения, — толковал мне Яков, — плащаницу, что лежала на престоле с самой Светлой заутрени, положат в гробницу, и будет покоиться она в гробовой сени до следующего Велика — Дня... Одним словом, прощайся, Васенька, с Пасхой!

Я очень огорчился и спросил Якова:

— Почему это все хорошее так скоро кончается?

— Пока еще не все кончилось! Разве тебе мать не сказывала, что еще раз можно услышать пасхальную заутреню... на днях!

Меня бросило в жар.

— Пасхальная заутреня? На днях? Да может ли это быть, когда черемуха цветет? Врешь ты, Яков!

— Ничего не вру! День этот по-церковному называется «Отдание Пасхи», а по народному — прощание с Пасхой!



Когда я рассказал об этом Гришке, Котьке и дворнику Давыдке, то они стали смеяться надо мною.

— Ну, и болван же ты, — сказал дворник, — что ни слово у тебя, то на пяточок убытку! Постыдился бы: собаки краснеют от твоих глупостей!

Мне это было не по сердцу, и я обозвал Давыдку таким словом, что он сразу же пожаловался моему отцу.

Меня драли за вихры, но я утешал себя тем, что пострадал за правду, и вспомнил пословицу: «За правду и тюрьма сладка!» А мать выговаривала мне:

— Не произноси, сынок, черных слов! Никогда! От этих слов темным станешь, как ефиоп, и ангел твой, что за тобою ходит, навсегда покинет тебя!

И обратилась к отцу:

— Наказание для ребят наша улица: казенка, две пивных да трактир! Переехать бы нам отсюда, где травы побольше, да садов... Нехорошо, что в город мы переебрались! Жили бы себе в деревне...

Перед самым Вознесением я пошел в церковь. Последнюю пасхальную заутреню служили рано утром, в белых ризах, с

пасхальной свечою, но в церкви почти никого не было. Никто не знает в городе, что есть такой день, когда Церковь прощается с Пасхой.

Все было так же, как в Пасхальную заутреню ночью, — только свет был утренний, да куличей и шума не было, и когда батюшка возгласил народу: «Христос воскрес», не раздалось этого веселого грехота: «Воистину воскрес!»

В последний раз пели «Пасха священная нам днесь покажася».

После пасхальной литургии из алтаря вынесли святую плащаницу, положили ее в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой.

И почему-то стало мне тяжело дышать, точно так же, как это было на похоронах братца моего Иванушки.

Я стал считать по пальцам — сколько месяцев осталось до другой Пасхи, но не мог сосчитать... очень и очень много месяцев!

После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он дорогою говорил мне:

— Доживем ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счет не идешь! Доска-



ещь! А вот я — не знаю. Пасха! — улыбнулся он горько, — только вот из-за нее не хочется помирать!.. И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!

Мы дошли до ночлежного дома. Сели на скамью. Около нас очутились посадские, нищевродная братия, босяки, пьяницы и, может быть, воры и губители. Среди них была и женщина в тряпье, с лиловатым лицом и дрожащими руками.

— В древние времена, — рассказывал Яков, — после обедни в Великую Субботу никто не расходился по домам, а оставались в храме до Светлой заутрени, слушая чтение Деяний апостолов... Когда я был в Сибири, то видел, как около церкви разводили костры в память холодной ночи, проведенной Христом при дворе Пилата... Тоже вот: когда все выходят с крестным ходом из церкви во время Светлой заутрени, то святые угодники спускаются со своих икон и христосуются друг с другом.

Женщина с лиловым лицом хрипло рассмеялась. Яков посмотрел на нее и зоботливо сказал:

— Смех твой — это слезы твои!

Женщина подумала над словами, вникла в них и заплакала.

Во время беседы пришел бывший псаломщик Семиградский, которого купцы вытаскивали из ночлежки читать за три рубля в церкви паремии и апостола по большим праздникам и про которого говорили: «Страшенный голос».

Выслушав Якова, он откашлялся и захотел говорить.

— Да, мало что знаем мы про свою Церковь, — начал он, — а называемся православными!.. Ну, скажите мне, здесь сидящие, как называется большой круглый хлеб, который лежит у царских врат на аналое в Пасхальную седмицу?

— Артос! — почти одновременно ответили мы с Яковым.

— Правильно! Называется он также «просфора всецелая». А каково обозначение? Не знаете! В апостольские времена, во время трапезы, на столе ставили прибор для Христа в знак невидимого Его со-трапезования...

— А когда в церкви будут выдавать артос? — спросила женщина и почему-то застыдилась.



— Эка хватилась! — с тихим упреком посмотрел на нее Яков. — Артос выдавали в субботу на Светлой неделе... К Вознесению, матушка, подошли, а ты — артос!

— Ты мне дай крошинку, ежели имеешь, — попросила она, — я хранить ее буду!

Семиградский разговорился и был рад, что его слушают.

— Вот, поют за всеобщим бдением «Свете тихий...» А как произошла эта песня, никто не знает...

Я смотрел на него и размышлял:

— Почему люди так презирают пьяниц? Среди них много хороших и умных!

— Однажды патриарх Софроний, — рассказывал Семиградский, словно читая по книге, — стоял на Иерусалимской горе. Взгляд его упал на потухающее палестинское солнце. Он представил, как с этой горы смотрел Христос, и такой же свет, подумал он, падал на лицо Его, и так же колебался золотой воздух Палестины... Вещественное солнце напомнило патриарху незаходимое Солнце — Христа, и это так растрогало патриарха, что он запел в святом вдохновении:

— Свете тихий, святые славы...

«Обязательно с ним подружусь!» — решил я, широко смотря на Семиградского.

В этот день я всем приятелям своим рассказывал, как патриарх Софроний, глядя на заходящее палестинское солнце, пел: «Свете тихий, святые славы».

Яблоки

8.

Дни лета наливались, как яблоки. К Преображению Господню они были созревшими и как бы закругленными. От земли и солнца шел прохладный яблочный дух. В канун Преображения отец принес большой мешок яблок... Чтобы пахло праздником, разложили их по всем столам, подоконникам и полкам. Семь отборных малиновых боровинок положили под иконы, на белый плат, — завтра понесем их святить в церковь. По деревенской заповеди, грех есть яблоки до освящения.



— Вся земля стоит на благословении Господнем, — объясняла мать, — в Вербную субботу Милосердый Спас благословляет вербу, на Троицу березку, на Илью Пророка рожь, на Преображение яблоки и всякий другой плод. Есть особенные, Богом установленные сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черника, земляника, малина, голубица, морошка, брусника, грибы, мед и всякий другой дар Божий... Грех срывать плод до времени. Дай ему, голубчику, войти в силу, напитаться росой, землей и солнышком, дождаться милосердного благословения на потребу человека!

В канун Преображения почти вся детвора города высыпала на базар, к веселым яблочным рядам. Большие возы яблок привозили на пыльных телегах из деревень Гдовья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, яснозорчатые, осенецветные, багровые, златоискрые, янтарные, сизые, белые, зеленые, с красными опоясками, в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные (инда зернышки просвечивают), большие, как держава в руке Господа Вседержителя,

и маленькие, что на рождественскую елку вешают, — лежали они горками в сене, на рогожах, в соломе, в корзинах, в коробах, ящиках, в пестрядинных деревенских мешках, в кадушках и в особых липовых мерках.

Торговали весело и шумно, с хохотом и прибаутками. Яблоки заставляли улыбаться, двигаться, громко говорить, слегка озорничать, прыгать на одной ноге, размахивать руками, прицениваться и ничего не покупать. Нельзя было избавиться от неудержимой смешливости. Все смешило — и бойкий чернобородый зубоскал мужик в розовой рубахе, стоящий на возу, как Пугачев на Лобном месте, и надсадно выкрикивающий: «а вот я-я-бло-чки красавчики»; загаристая девка с большим кошельем через плечо, давшая наотмашь «леща» по спине мальчишки, стянувшего яблоко; выпивший дядя, рассыпавший яблоки прямо в базарную лужу. Особенно смешил круглощекий восьмилетний пузан, одной рукой показывающий на яблоки в телеге и спрашивающий торговца, почему? — а другой рукой залезающий под солому.



огда карманы его раздулись от наворованных яблок, он сказал торговцу: дороговато! На воришку весело посматривал городской и грозил полицейским пальцем: «Я тебя! Моли Бога, что я сегодня добрый». Кому-то угодили яблоком в затылок и крикнули: с наступающим праздником! Вихрастый мастеровой угощал девицу «сахарной коробовкою». Сделав губы бантиком, она ответила: «до священья не вкушаю».

Под телегами спали разиня рот деревенские ребята — с тятками и мамками они всю ночь сопровождали яблочные возы в город. Я встретил Урку. Он грыз яблоко, и я сказал ему:

— Разве можно есть неосвященное? Грех ведь!

Урка тревожными глазами посмотрел на меня и ответил, как серьезный ихний раввин:

— У нас свой закон!

В чайной с вывеской «Зайди, приятель» сидели мужики, пили чай с ситником и говорили только о яблоках: сколько мер собрали, сколько пообтряс ветер, как их везли по дорогам, сколько взяли

барыша, и что-де Господь послал урожайный год, хорошую росу, дождь по времени, и теперича, мол, зима не страшит, всего вволю, а поэтому можно еще сороковочку выпить!

Чтобы угодить мужикам, половой завел органчик, но ему сказали:

— Поштенный! Нельзя ли повременить? Успенский пост еще не прошедши!

А кругом чайной дробный полновесный звук отмериваемых яблок, зазывы торговцев, ржанье лошадей, взвизги, смех, всплески голубиных и воробьиных стай, летающая паутина предосенница, жаркое, но все же замирающее солнце — оно тоже созрело, как яблоко, и скоро уляжется на покой до новой весны и нового созрева, — и это полнозубое, веселое, морозно-хрустящее слово «яблоки», раскатывающееся по всему базару и улицам!

— Ах, какое хорошее слово «яблоки»! Лучше этого слова не сыщешь по всей поднебесной!

Вечером пошли ко всенощной. В церкви пели яблоками и медом пахнувший преображенский тропарь:



«Преобразился еси на горе Христе Боже показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Вечером, после ужина, меня заставили читать Евангелие о Преображении Господнем. Я читал по складам:

«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белы как снег».

Ночь была душной, с далекими всполохами, с августовской, тихо шумящей тьмой.

От духоты в комнате я захотел снять с себя всю одежду, чтобы спать было повольготнее, но мать строго мне внушила:

— Никогда не спи нагишом, ибо сон смерти брат, преддверие и Страшному Суду Господню. Надо быть всегда в готовности, одетым в дорогу...

При слове «дорога» она отвернулась к окну и как будто бы прослезилась.

Утром встали спозарань. На дворе желтела заря — ранница. Она сдувала с крыш последний сон. Зачинающийся день все шире и шире раскрывал золотые свои врата, и не успел я насмотреться досыта на восходе, так редко мною виденное, как показалось в этих вратах солнце и зашагало по земле поступью Великого Государя, идущего от Светлой заутрени. Долго я думал, отчего солнце слилось у меня с шествием Великого Государя, виденного мной на какой-то картине, и не мог додуматься. Отец, вымытый и причесанный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакированных сапогах, ходил по комнате и напевал: «Преобразился еси на горе Христе Боже».

— Преображение... Преображение... — повторял я. Как хорошо и по-песенному ладно подходит это слово к ширящемуся и расцветающему дню.

С белым узелком яблок пошли к обедне. Всюду эти узелки, как куличи на Пасху, заняли места в доме Божьем; и на ступеньках амвона, и на особых длинных столах, на подоконниках и даже на полу под иконами. Румяно и простодушно ле-



али они перед Богом — вошедшие в силу, напитавшиеся росой, землей и солнышком, готовые пойти теперь на потребу человека и ждущие только Божьего благословения.

Во время пения «Преобразился еси» на амвон вынесли большую корзину с церковными яблоками. Над ними читали молитву и окропляли их святой водой. Когда подходили ко кресту, то священник каждому давал по освященному яблоку. В течение целого дня на улицах слышен был сочный яблочный хруст.

Радостно и мирно завершился солнечный, яблочко-круглый день Преображения Господня.

Певчий

9.

В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицей-

мейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушаются, хоть волоком его волочи! Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: не могу уйти! Здесь все видно!

Во время всенощного бдения или литургии облокотись на железную амвонную оградку, глядишь восхищенными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь к думаешь:

— Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они приближенные Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы...

Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого — пьяницу и сквернословия, баса торговца Гадюкина, который старается людям по-



днее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет «на придачу». Сторожа Евстигней терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика.

В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!

Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики — совсем как ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например, Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть! Однажды я заявил отцу с матерью:

— Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!

— Дело это, сынок, простое, — сказал отец, — сходи седни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твое озорство не наслышаны!

— Верно, сынок, — поддакнула мать, — попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный... И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя ангел Божий!

В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».

— Войдите!

Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрый помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал соленый съезженный огурец.

— Тебе что, чадо? — спросил меня каким-то густо-клейким голосом.

— Хочу быть певчим! — заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.



— Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе... Вот так. Ну, тяни за мною «Царю Небесный, Утешителю...» Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.

— Слух неважнецкий, — сказал он, — но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: «достойн».

Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:

— И кафтан можно надеть?

— Какой? — не понял регент. — Тришкин?

— Нет... которые певчие носят... эти голубые с золотыми кисточками...

Он махнул рукой и засмеялся:

— Надевай хоть два!

В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:

— Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!

Кому-то сказал, перехватив через край:

— Приходите в воскресенье меня слушать!

Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачатся в кафтан. Сторож, заправлявший лампы, спросил меня:

— Ты куда?

— За кафтаном! Меня в певчие выбрали!

— Эк тебе не терпится!

Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня.

— Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще!

— Ничего. Я подожду.

Со страхом Божьим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался.

— Ты что это в кафтане-то?

— Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!



— Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну, что же, «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте!»

Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости — вот-де, достиг! — а тонкая, мягкошелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекопания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня...

Пели «Верую во единого Бога Отца Вседержителя...» Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием.

Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего символа веры... Когда певчие грянули «чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века,

аминь» — я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «а-а-минь»! В глазах моих помутилось. Я съежился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным шипящим хрипом простонал:

— Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!

Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса.

Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:

— Это ничего, это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, — подумает Он, — как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость... сорвался... Ну, что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает... Не



учинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!

Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.

Святые Святых

10.

Желание войти во святая святых церкви не давало мне покоя.

В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаенную свою думу:

— Помоги мне, Господи, служить около Твоего престола! Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя!

Бог услышал мою молитву. Однажды пришел к отцу соборный дьякон, принес сапоги в починку. Увидев меня, он спросил:

— Что это тебя, отроча, в церкви не видать?

За меня ответил отец:

— Стесняется после своей незадачи на клиросе. А служить-то ему до страсти хочется!

Дьякон погладил меня по голове и сказал:

— Пустяки! Не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память загнул, да никому другому, а Святейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в субботу ко всенощной, в алтарь, кадило будешь подавать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель! Согласен?

Через смущение и радостные слезы я прошептал нашу деревенскую благодарность:

— Спаси Господи!

И вот опять я сам не свой! Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подоконника дедовские староверческие четки — лестовку — и обмотал ими кисть левой руки, по-монашески.

Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:



— Э... монах в коленкоровых штанах!

Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной ленточки, но вовремя вспомнил наставление матери: «да не зайдет солнце во гневе вашем».

Наступила суббота. Умытым и причесанным, в русской белой рубашке, помывшись на иконы, я побежал в собор ко всеобщему бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь. Ко мне подошел сторож Евстигней:

— Чего остановился? Входи. Дьякон сказывал, что пономарем хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-то! А здорово ты каркнул тогда за обедней, на клиросе, — напомнил он, подмигнув смеющимся взглядом, — всех рассмешил только! Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день: всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!

Я не слышал, как вошел в алтарь. Алтарь, где восседает Бог на престоле, и,

по древним сказаниям, днем и ночью ходят со славословиями ангелы Божии, и во время литургии взблескивают над Чашей молнии, грешному оку невидимые... Я оцепенел весь от радости — радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое.

— Ну, приучайся к делу! — сказал сторож. — Вот это уголь, — показал мне прессованный хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. — Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками престола — место сие святое! Далее, не переходи никогда места между престолом и царскими вратами — грех! Не ходи также через горнее место, когда открыты царские врата... Понял?

От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее.

— А где же мой стихарь? — спросил я. — Отец дьякон обещал!

— Эк тебя разбирает! Сразу и форму ему подавай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно. Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя!



В это время ударили в большой колокол. От первого удара — вспомнилось мне — нечистая сила «яже в мире» вздрагивает, от второго бежит, и после третьего над землею начинают летать ангелы, и тогда надо перекреститься.

В алтарь пришел дьякон, улыбнулся мне: ну и хорошо!

За ним отец Василий — маленький, круглый, чернобородый. Я подошел к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал:

— Служи и не балуй! Все должно быть благообразно и по чину.

Началось всенощное бдение. Перед этим кадили алтарь, а затем, после дьяконского возгласа, запели «Благослови, душе моя, Господа». Особенно понравились мне слова: «На горах станут воды, дивны дела Твоя Господи, вся премудростию сотворил еси». Когда запели «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего престола, и опять перекрестился.

Когда читали на клиросе шестопсалмие, батюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил:

— Ты деньги-то за сорокоуст получил с Капитонихи?

— Нет еще. Обещалась на днях.

— Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжулила. Жог-баба!

Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в алтаре?

После всенощной я обо всем этом рассказал матери.

— Люди они, сынок, люди,- вздохнула она, — и не то, может быть, еще увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей Тайны Божии не повредятся. Так же сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредится ли хлеб, если семена его орошены грешником? Человек еще не вырос, он дитя неразумное, ходит он путаными дорогами, но придет время — вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей находить в нем пшеницу среди сорной травы.



— Держи карман шире! — проворчал отец, засучивая щетину в дратву. — Как там к людям ни приглядывался, ни со-страдал им, ни уступал, а они все же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальчика! Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника!

Мать так и вскинулась на отца.

— Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит за твоей спиною?

Отец вздрогнул.

— Кто?

— Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не говори непутевые слова. Они не твои. Не огорчай ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в искушение. А ты, — обратилась она ко мне, — не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжелая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает! Последнее с себя смет и неиму-

щему отдаст. В словах человека разбираться надо; что от души идет, и что от крови!

Тайнодействие

II.

Впервые услышанное слово «проскомидия» почему-то представилось мне в образе безгромных ночных молний, освещающих ржаное поле. Оно прозвучало для меня так же таинственно, как слова: молния, всполох, зорники и слышанное от матери волжское определение зарниц — хлебозарь!

Божественная проскомидия открылась мне в летнее солнечное воскресенье в запахе лип, проникавшего в алтарь из причтового сада, и литургийном благовесте.

Перед совершением ее священник с дьяконом долго молились перед затворенными святыми воротами, целовали иконы Спасителя и Божьей Матери, а затем поклонились народу. В церкви



ти никого не было, и я не мог понять: кому же кланяются священнослужители? Пузатому старосте что ли, считающему у выручки медную монету, или Божьей хлебнице-просфорне, вынимающей из мешка просфоры? Об этом я спросил чтеца Никанора Ивановича, и он объяснил мне мудреными церковными словами:

— Всеми миру кланяются! Ибо сказано в чине священныя и божественныя литургии: «Хотяй священник божественное совершити таинодействие, должен есть примирен быти со всеми».

Духовенство облачалось в ризы. Я не сводил глаз с этого невиданного мною обряда. Батюшка надел на себя длинную, как у Христа, шелковую одежду — подризник — и произнес звучащие тихим серебром слова:

«Возрадуется душа моя о Господи, облече бо мя в ризу спасения, и одеждою веселия одея мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою».

Облаченный в стихарь дьякон, видя мое напряженное внимание, шепотом стал пояснять мне:

— Подризник знаменует собою хитон Господа Иисуса Христа.

Священник взял эпитрахиль и, назнаменовав его крестным осенением, сказал: «Благословен Бог изливаяй благодать Свою яко миро на главы, сходящее на ометы одежды его».

— Эпитрахиль — знак священства и помазания Божия...

Облекая руки парчовыми нарукавниками, священник произнес: «Руце Твои сотвориште мя и создасте мя: вразуми мя, и научуся заповедем Твоим», и при опоясании парчовым широким поясом: «Благословен Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой... на высоких поставляяй мя».

— Пояс — знаменует препоясание Господа перед совершением Тайной вечери, — прогудел мне дьякон.

Священник облачился в самую главную ризу — фелонь, произнесся литые, как бы вспыхивающие слова: «Священницы Твои, Господи, облечутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются...»

Облачившись в полное облачение, он подошел к глиняному умывальнику и вы-



руки: «Умыю в неповинных руки мои и обиду жертвенник Твой, Господи... возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя...»

На жертвеннике, к которому подошли священник с дьяконом, стояли залитые солнцем чаша, дискос, звезда, лежало пять больших служебных просфор, серебряное копьцо, парчовые покровы. От солнца жертвенник дымился, и от чаши излучалось острое сияние.

Проскомидия была выткана драгоценными словами.

«Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя... Дивны высоты морские, дивен в высоких Господь...» «Святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое...»

Священник с дьяконом молились о памяти и оставлении грехов царям, царицам, патриархам и всем-всем, кто населяет землю, и о тех молились, кого призвал Бог в пренебесное Свое Царство.

Много произносилось имен, и за каждое имя вынималась из просфоры частица и клалась на серебряное блюдо-дискос. Тайна литургии до сего вре-

мени была закрыта царскими вратами и завесой, но теперь она вся предстала предо мною. Я был участником претворения хлеба в тело Христово и вина в истинную кровь Христову, когда на клиросе пели: «Тебе поем, Тебе благословим», а священник с душевным волнением произносил:

«И сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, аминь, аминь, аминь...»

В этот день я испытывал от пережитого впечатления почти болезненное чувство; щеки мои горели, временами была лихорадка, в ногах была слабость. Не пообедав как следует, я сразу же лег в постель. Мать заволновалась.

— Не заболел ли ты? Ишь, и голова у тебя горячая, и щеки как жар горят!

Я стал рассказывать матери о том, что видел сегодня в алтаре, и, рассказывая, чувствовал, как по лицу моему струилось что-то похожее на искры.

— Великое и непостижимое это дело, совершение Тайн Христовых, — говорила мать, сидя на краю моей постели, — в это



Она даже ангелы закрывают крылами свои лица, ибо ужасаются тайны сия!

Она вдруг задумалась и как будто стала испуганной.

— Да, живем мы пока под ризою Божьей, Тайн Святых причащаемся, но наступит, сынок, время, когда сокроются от людей Христовы Тайны... Уйдут они в пещеры, в леса темные, на высокие горы. Дед твой Евдоким не раз твердил: «Ой, лютые придут времена. Все святости будут поруганы, все исповедники имени Христова смерть лютую и поругания примут... И наступит тогда конец свету!

— А когда это будет?

— В ладони Божьей эти сроки, а когда разогнется ладонь — об этом не ведают даже ангелы. У староверов на Волге поверье ходит, что второе пришествие Спасителя будет ночью, при великой грозе и буре. Деды наши сурово к этому дню приуговлялись.

— Как же?

— Наступит, бывало, ночная гроза. Бабушка будит нас. Встаем и в чистые рубахи переодеваемся, а старики в саваны — словно к смертному часу готовим-

ся. Бабушка с молитвою лампады затепляет. Мы садимся под иконы, в молчании и трепете слушаем грозу и крестимся. Во время такой грозы приходили к нам сродственники, соседи, чтобы провести грозные Господни часы вместе. Кланялись они в землю иконам и без единого слова садились на скамью. Дед, помню, зажигал желтую свечу, садился за стол и зачинал читать Евангелие, а потом пели мы «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдящим...» Дед твой часто говаривал: мы-то, старики, еще проживем в мире, но вот детушкам да внукам нашим в большой буре доведется жить!

Юродивый Глебушка

12.

Дурачок, или, как мать прозывает, Божий рощенник, Глебушка — отрасль, оскудевшего купеческого древа. Недавно в



ежном доме умер от пьянства родитель его Илья Коромыслов, бывший владелец винокуренного завода. На старом загородном кладбище стоят тяжелые гранитные памятники, под которыми упокоились гремевшие когда-то на всю губернию своим богатством и диким озорством Глебушкины предки.

Плывучая людская молва твердила, что прадед Глебушки со своими сынами держали постоялый двор на проезжей дороге, опаивали смертным зелием заночевавших постояльцев, грабили их, а тела якобы бросали в глубокие болотные трясины. В десяти верстах от города, в синих лесных затишниках лежат эти болота и прозываются «Мертвецки-ми». Старожилы города, проходя мимо надгробных памятников, останавливаются и читают высеченные на них Христовы слова: «Блажени плачущии, ибо они утешатся...»

— Ишь ты, плачущий! — бурчат старики, раздумно поглаживая бороды, — знаем, знаем, о чем плакал старый черногрешник... Забеременевшую дочку свою ножищами по животу топтал и в погребу

на цепи ее держал... Там она, страстотерпица, и померла в затемнении разума...

Старики показывали на могилу замученной девушки, зарытой по приказу отца вне семейной ограды, у кладбищенской стены, рядом с крапивой и бурьяном. Над ней обветрившийся осьмиконечный крест, склокившийся на бок. Долгое время на кресте была надпись: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», и слово «утроба» было написано крупными буквами.

Старики читают другую надпись на семейной гробнице:

«Блажени милостивии, яко тии помиловани будут...»

— Знаем, знаем этого милостивца, Карпушку Коромыслова! Не одну душу по миру пустил! По слезам да кровушке людской, как по ковру, ходил да еще посвистывал... милостивец этот!

«Блажени чистии сердцем, ибо они Бога узрят».

— Ну, навряд ли этот узрит! Завод поджег, чтобы страховку получить. Во время пожара десять человек работни-



сгорело... Страшный пожар был! Спирт горел. На каторгу не угодил! Красюбаи адвокаты спасли. Но от людского суда спасся, а Божьего не избег!.. Пьяным упал в негашеную известь, когда новый завод строил...

Последним лежал здесь спившийся Илья Коромыслов. Памятника над ним не было. Упокоился под простым, слаженным самоделкою крестом из тонких березовых стволов...

Старики крестились на эту могилу и тихо поми-нали:

— Дай ему, Господи, легкое лежание! Этот нищетой да слезами омыл себя перед Богом... Добрый был! Бедноту да голь кабацкую ублажал — все до згиночки им отдал! Нищим по рублю давал. Ночлежный дом построил и сам же туда попал, когда в одних опорках и кафтанишке остался. Напьется, бывало, пьяный и всем проходящим в ноги кланялся:

— Помолитесь, — говорит, — за грешный, окаянный род наш!

Да, оскудел род, оскудел... Вьюгой прошумела знатная фамилия! Вот уж истинно сказано: «Богатство — вешняя вода,

пришла и ушла». Остался лишь маяться на земле за грехи родительские Глебушка скорбноглавый!..

Глебушка питается Христовым именем. В стужу ночует с нищими в ночлежном доме, а летом на церковной колокольне, в поле, в городском саду, а раз видели его поутру свернувшимся калачиком около могилы отца. Глебушке за тридцать лет. Лицо обветренное, широконосый, брови срослись, рот разинут, голова не стриженная, на щеках и подбородке золотистая порось, около виска сизый желвак. Ходит по улице, руки по швам, часто останавливается и к чему-то прислушивается, склонив голову на левое плечо. Тихо про себя улыбнется, погрозит кому-то пальцем и опять пойдет солдатским шагом, отдавая честь встречным городовым и солдатам. Зиму и лето всегда в кафтанчике синего поблекшего сукна, опоясанный веревкой. На голове подаренный кем-то в насмешку высокий дырявый цилиндр, на ногах тяжелые опорки от мужицких сапог. Любит провожать покойников на кладбище и плачет по ним навзрыд, кто бы они ни были, знакомые или чужие.



Ближе сошлись мы с ним в церковной ограде. Он сидел на земле и затаенно следил, как по травинке поднимался муравей. Ни с того, ни с сего вдруг захлопал в ладоши, с урчанием ухмыльнулся и запел тонким причитывающим ладом:

*Чичер бачир, приходите на чир,
А кто не был на чир, тому волосы деру.
Шапка кругла, все четыре угла,
Сюды угол, туды два,
Посередке кистка...*

Увидал меня, высунул язык и заржал:

— Э-эи Гомзуля!

— Ты чего дразнишься?

— Я тебя не дразню, а здоровкаюсь!

Глебушка встал на четвереньки, подбежал ко мне и запрыгал вокруг, высоко вскидывая ноги:

— Я лошадь!.. Фрр. Садись на меня! Дюже прокачу! — закричал он по-извозчичьи.

Мне это понравилось. Я сел к нему на спину, и он катал меня по церковной ограде. Как настоящая лошадь, фыркал, лягался, даже ел траву, наклоняясь к ней широким слюнявым ртом.

Утомившись от игры, сели с ним на траву, в затишь широкой липы.

Я спросил его:

— Скажи, Глебушка, а правда это, что твой дедушка дочку свою ногами затоптал?

— Правда! — ответил он с какой-то лихостью, — по животу топтал, а потом в подвал бросил! Ее там крысы грызли!.. Она там ребеночка выкинула... мертвенького...

— Сволочь твой дедушка! — неожиданно сорвалось у меня озлобленное слово, — теперь, поди, чертяги на его пузе пляшут!

Глебушка задумался, а потом сказал с расстановкой, охватив руками ноги:

— Наверяд ли его часто мучают... Я за него Господа молю. Всю ночь молю, до самой зари... На меня тятенька заклятье наложил: «Молись, говорит, за род наш! Ты, говорит, блаженный, в обнимку с Христом ходишь!»

Глебушка ткнул себя пальцем в грудь.

— Это я, блаженный! Меня Христос обнимает, как Своего сродственника...

Помолчал, всмотрелся в меня и добавил:

— Ты и все, которые кругом, ничего про меня не знают... Они только дурость мою знают, а вот что со мною ангелы по



очам беседуют и хлеб-соль мы вместе разделяем, про то люди не ведают!..

Он подполз ко мне ближе и, по-святому улыбаясь, тонким, тонким шепотом, сине вспыхивая засветившимися вдруг глазами, не похожими на его всегдашние юродивые, забормотал, словно в тихом прозрачном полусне:

— Приходят они тихие, претихие... белые, как церква наша... и блестящие, как батюшкины пасхальные ризы... Придут это и сядут со мною рядом... хлебушка положат...

— Они к тебе в ночлежку приходят? — перебил я Глебушку.

— Не. Туда они не приходят! Там греха много, а приходят, когда я в поле ночую... С первинки мне страшно было созерцать их, а потом ничего, привык. Они простые, все-тихие, душевные... До самой зари сидим мы под кусточками, хлеб небесный вкушаем... (во, где вкусный-то!) и беседуем.

— О чем же вы беседуете?

— А ты никому не скажешь?

— Вот те Христос! — сказал я, перекрестясь.

Глебушка покачал головой и укоризненно заметил:

— Так все клянутся и клятву свою расторгают... Ты поцелуй еще подножие Божие, землю Его, тогда поверю. Клятва сия страшная, и кто разрешит ее, молнией будет опален!

Я встал на колени и поцеловал землю.

— Ангелы мне сказывали, — начал он потаенно, — что наша земля огнем сгорит. Много прольется крови. Слез будет! (Глебушка закрыл лицо руками, судороги пошли по его телу.) Могилушек сколько будет!.. И их! И все без крестов, без отпева... Люди от скорби руки грызть станут... Голод в обнимку с чумой пойдут и песни развеселые запоют... Доведется человеку есть человечину. Плач будет и скрежет зубовой...

Глебушка не выдержал и заплакал.

— Ой, жалко! Ой, Господи, жалко! Детушек маленьких есть будут! Деревца, цветики, травушку, зверушек и птичек жальче всего... Они тоже гореть будут. За грехи людей муку примут! И вот говорят мне ангелы: «Раб Божий, Глеб! Иди к царю и митрополиту и упреди их... Пусть облекутся во вретиче и с народом своим на землю упадут и покаются...»

— И ты пошел?



— Да. Пять ден шел. Увидел я Санкт-Петербург и заплакал...

— Отчего же?

— Сам не знаю. Жалко мне его почему-то стало... Дошел до Казанского собора, сел на ступеньку и реву... Господин городской ко мне подошел. Спрашивают: «Об чем ты тужишь?» Я отвечаю ему: «Петербург мне жалко!» Взяли меня под ручку и повели в участок. Там допрос. Я им сказал, что меня ангелы послали к царю и митрополиту сказать одно тайное слово... Переглянулись это они и сказали: «Хорошо. Мы тебя сейчас доставим!»

— Ну, и доставили?

— Посадили меня в карету и повезли. Остановились у большого дома. Входим это мы. Сейчас, думаю, царь с митрополитом выйдут... Я им в ноженьки поклонюсь и все расскажу, что мне ангелы наказали... Ждал я, ждал... Несколько ден ждал, неделю, да еще... месяцы прошли... Опосля я уразумел, что это не дворец, а дом для умалишенных...

В жизни я всегда кротким был, а тута кричать стал, в стенку головой биться, на служителей с кулаками бросаться. На

меня смиренную рубашку надевали, с длинными серыми рукавами... Стра-а-шная!.. Потом утишился я... Выпустили меня на свет Божий...

Но я еще дойду... Завет ангелов исполню, — сказал Глебушка, помолчав, — надо убережь землю от гнева Божьего!..

Он замолчал. В задумчивости покрутил травинку меж пальцев, нахлобучил свой цилиндр, поднялся и пошел юродивым шагом по тихой церковной траве к выходу на шумную городскую улицу. Спина Глебушки осветилась уходящим солнцем. Вспомнились слова его:

— Меня Христос обнимает, как Своего сродственника.

Московский миллионщик

13.

По воскресным и праздничным дням стояли на паперти собора в чаянии милости два старика нищих. Один — высокий,



ородатый, слепой, в замызганном коротком полушубке, в пыльных исхоженных сапогах. Другой — низкорослый, седой, губастый, с колючими веселыми усами и всегда в подпитии. Первого величали попочетному Денисом Петровичем, а второго забавным прозвищем — дедушка Гуляй.

Отец, указав как-то на них, горько сказал мне:

— Да, жизнь трясет людьми, как вениками! Истинно сказано в акафисте: «красота и здравие увядают, друзья и искренние смертью отъемяются, богатство мимотечет...» Вот стоит на паперти и руку Христа ради тянет Денис Петрович Овсянников. Лет тридцать тому назад на всю Москву и окрест страшным был богачом! Старостой в Успенский собор выбирали, с губернаторами и архиереями чай пил, на лучших рысаках катался, но... не удержал голубчик волговую свою силу. Все миллионы на дым пустил. Во весь неумный лих размытарил их по московским кабакам да притонам...

— А кто такой дедушка Гуляй?

— Богоносная душа! Главный приказчик Дениса Петровича. Когда разорился

и спился господин его, то он не оставил оставленного, а пошел вместе с ним странствовать, крест его облегчать, слепоту его пестовать. Есть еще, сынок, братолюбцы на земле!

Однажды Денис Петрович в ожидании обедни сидел в соборной ограде и незрячими глазами своими тянулся к солнцу, ловя тепло его. Дедушки Гуляя не было. Бывший московский миллионщик был тих и как-то благовиден озаренным лицом своим, разветренными снеговыми волосами, смиренными руками, положенными на колени, и жалостной слепотой своей.

Я сказал ему: «Здравствуй, Денис Петрович». И он ответил тихим приветным голосом: «Христос спасет...»

Не знаю почему, я сразу же спросил его:

— А тебе не жалко, что ты всего богатства лишился?

Денис Петрович улыбнулся и ответил мне, как большому, мудреными древними словами:

— Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время сбергать и время



росать. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа!

Он не оглянулся даже на звук моего голоса, и мне показалось, что ответил он греющему его солнцу.

В это время пришел дедушка Гуляй. Он принес старику хлеб и две копченых рыбки.

— Кушай, хозяин! — сказал он веселым, каким-то гулевым голосом, садясь рядом. — Обедня сегодня долгая. Подкрепись! Только поп да петух не евши поют, а нам невмоготу...

Дедушка помог хозяину вычистить рыбу, положил ему на ладонь, сбегал в церковную сторожку за кипятком.

— Городской голова сегодня именинник, — докладывал он, поднося чашку к губам Дениса Петровича, — двутривенный нам, раз! Марья Павловна Перчаткина панихиду служит по мужу, четвертак. Два! Заводчица Наталья Ларивоновна именинница — пятиалтынный, три! Есть и прочие, которые по копейке...

— Слава тебе, Христе, Свете истинный! — восславлял Денис Петрович, разжевывая хлеб. — Даст Господь день, даст и пищу.

Дедушка Гуляй обратил на меня внимание. Он весело подмигнул мне глазом, тоже каким-то гулевым, словно сказать хотел: «Не унывай, братишка!» От него пахло яблочно-хлебным духом водки и румяной деревенской обработанностью.

— Вот и хорошо!

А что хорошо, так и не пояснил, только улыбкой засветился и веселые усы свои разгладил.

— Мальчонка тут один меня вопрошал, — отозвался Денис Петрович, крестясь после еды, — жалко ли мне сгинувшего богатства? Удивил даже... такой выросток быстрословый!.. Голос этакой думчивый... Мужиковатый, со вздохом... Тут ли он?

— Тут, Денис Петрович, рядом сидит!

— Так, так... тут сидит... Ну, и Господь с ним, пусть сидит... Это хорошо, что отрок к нам подсел... Хороший знак, добрый! Это значит, что души наши не затемнились еще... А вот ежели дитя али животная бежит от человека, тогда — каюк... Беззвездная, значит, душа у того несчастного!



От этих слов дедушка Гуляй веселым стал и хотел обнять меня, но, вместо этого, дальше от меня отстранился и руками замахал.

— Блиско не сиди с нами, сынок! Блошками тебя наградим. Хоть и веселые эти блошки, но зело ехидные!

— У нас тоже блохи водятся, — похвастал я.

Так состоялось наше знакомство. В одно из воскресений я встретил на паперти одного лишь Гуляя. Хозяина с ним не было. Я спросил его:

— А где же Денис Петрович?

— На одре болезни. Отцветает мой хозяин, к земле клонится. На родину просится!

— На какую родину? В Москву?

— Нет, — вздохом ответил дедушка, — в пренебесное отечество, на пажити Господни!

Вспомнились мне смиренные руки его и почему-то пыльные, разношенные сапоги его, и стало жалко бывшего миллионера. Слова матери вспомнились: «Кто болящего навестит, тому Матерь Божья улыбнется!»

— Можно его навестить? — спросил я Гуляя.

Не знамо отчего, на глазах дедушки за-теплились слезы, заулыбался он от неведомой радости разными светами, как драгоценный камень.

— Спаси тя Христос! Возрадованная душа у тебя... Навести его, сынок, обрадуй! Ты ведь вроде пасхального канона для него будешь! Очень ему нагрустно! Смертный час к нему приближается!

Я дождался, пока Гуляй собрал от богомольцев монетки, и мы пошли.

Жили они на окраине города около мусорных ям, в драном заплатавшем доме, около которого никогда не высыхала грязь и всегда бродили свиньи.

Жилище помещалось на верхнем чердачном этаже. Оно было темным, затхлым, с одним окном, выходящим на широкую толевую крышу. На пороге Гуляй сказал:

— Господь милости послал!

Денис Петрович лежал на деревянной койке. Он долго держал мою руку в своей.

— Сколь велико милосердие Божие! — говорил он, — молился я ночью и спрашивал Господа: прощены ли беззакония мои? Знать, прощены, если Он отрока ко мне послал! Гуляй! Слышишь ли ты, Гуляй! —



пробовал он крикнуть, — это ведь Господь... знак Его... Не пропащие мы с тобою, дедушка Гуляй, коли детская душа к нам потянулась! Что же ты молчишь, Гуляй?

— Я плачу!

— Не плачь! Сходил бы лучше в лавочку и принес бы отроку гостинцев, да за кипятком в чайную сбегал бы... За все тридцать лет шатания нашего первый гость у нас!.. Да ка-а-кой еще! Ненарадованный!

Мне было неловко от их восхищения. Я смотрел «в землю» и теребил поясок от рубашки. Дедушка Гуляй сбегал за гостинцами и кипятком. Стол придвинули к постели болящего. Мне дали жестяную кружку с чаем и наложили стог леденцов и пряников. Я все время молчал, и дедушка Гуляй почему-то решил, что скучно мне. Он стал развлекать меня; строил скomorошьи рожи, подражал паровозу, лаял по-собачьи, пел частушки. Одна из них мне запомнилась:

*Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь,
Как по этому колечку,
Буду плакать день и ночь.*

Пропел даже целую былинку про Соловья Будимировича, и надолго остался в памяти былинный «зачин»:

Высота ли — высота поднебесная!

Глубота — глубота океан-море!

Широко раздолье — по всей земле!

Глубоки-темны омуты Днепровские!

Пел и лицом играл так, что видел я, как выбегали-выгребали тридцать кораблей, и как хорошо корабли изукрашены, хорошо корабли изнаряжены, и как на беседочке сидельной сидит купав молодец, молодой Соловей сын Будимирович, со своей государыней Ульяной Васильевной...

Когда нечего было рассказывать и петь, то дедушка Гуляй вынул из-под койки зеленый солдатский сундучок, многообещающе подмигнул мне гулевым глазом и поднял крышку. Внутренняя сторона ее была заклеена ярмарочной картиной: «Эй, ящик Гаврилка, где моя бутылка». На ней изображен усатый барин в кибитке, а на облучке пьяный Гаврилка, правящий тройкой коней, пышащих огнем и дымом.

В сундуке много было всяких вещей. Дедушка показал мне двадцатипятирублевую бумажку с обожженными краями.



— Это они, — кивнул на мертвенно лежащего Дениса Петровича, — сигару когда-то прикуривали... А это мои манжеты и манишка... Будучи главным приказчиком, я носил их... Щеголем был!.. Пачка счетов хозяина моего... Гляди, какие большие тыщи сжигал он в «Яре» и «Славянском базаре»... А это вот визитная карточка: «Коммерции советник Денис Петрович Овсяников»... Гляди, с золотыми обрезами!..

Долго смотрел на эту карточку и сказал:

— Время пролетело, слава прожита! — Что-то еще хотел он показать, но на него прикрикнул Денис Петрович.

— Опять за свою переборку? Закрой сундук, старый дурак! Никакого воскресения от тебя не вижу. Днем и ночью только и ворошишь свое барахло.

— Эх, хозяин, хозяин, — жалостливо прошептал дедушка Гуляй, — вся Москва наша в этом сундучке... Вспомнить хочется...

Гуляй поднялся с пола, утер рукавом слезу, подбоченился, щелкнул пальцами, по-молодецки ухнул и неожиданно пустился в пляс, запев песню с деревенским завизгом:

*Ох, пойду я да в зеленый тот лесак.
Вырву, выломлю кленовый там листок,
Напишу я на нем грамотку
Пошлю ее к отцу старому.*

И вдруг в середину песни ворвался такой страшный взрыв, которого я никогда еще не слышал:

— Помираю!

На койке метался Денис Петрович. Дедушка Гуляй почему-то не бросился к нему на помощь, а продолжал стоять в позе плясуна, только рот его раскрылся и красное лицо словно инеем покрылось...

— Священника... — подземным, уходящим в глубину голосом охнул Денис Петрович, разрывая руками рубашку на груди, — показался медный крестьянский крест.

Дедушка Гуляй упал на пол. Он ползком задвигался к постели умирающего. Я побежал за священником. Когда мы пришли, то бывший московский миллионер уже отходил, не дождавшись причастия. Дедушка Гуляй вынимал из сундука смертную одежду.

Священник запел канон «на исход души». — «Яко по суху пешешествовав Из-



раиль по бездне стопами...» Читались смертные слова: «ночь смертная мя постиже неготоваго...»

Я смотрел на глиняную кружку, из которой Денис Петрович прихлебывал чай.

Священник сложил крестом руки умирающего и перекрестил его. По заветной крыше ходили воробьи. Один из них заглянул в окно и чирикнул.

...Похоронили Дениса Петровича на кладбище бедняков и бездомников, под еловым крестом. Руками бабушки Гуляя была прибита к кресту оправленная в стекло визитная карточка с золотым обрезом: «Коммерции советник Денис Петрович Овсянников».

Любовь — книга Божия

Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в

трухлявом бревенчатом доме — окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишенным сана дьяконом Даниилом — саженого роста и огромного голоса детинной.

Про Филиппку и Агапку здесь говорили:

— Много видали озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось!

Было им лет по девяти. Отец одного был тряпичник, а другого — переплетных дел мастер. Филиппка — маленький, коротконогий, пузатый, губы пяточком и с петушком на большой вихрастой голове. Всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах — одна штанина была синяя, а другая желтая, и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал:

— Удивительно, Марья Димитриевна!



Агапка был тощим, в веснушках, зоркоглазым и вертким. Зиму и лето ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке-бескозырке. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил:

— Не называй меня больше Агапкой!

— А как же прикажете вас величать? — насмешливо спросила та.

Агапка звякнул шпорами и лихо ответил:

— Суворовым!

Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, — смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество.

Было озорство почище и злее, вызвавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Си-

дит Михайло в пивной. Звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет:

— Дядя Михайло! У твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют!

Обожженный ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой.

— Изменщица! — рычит он, надвигаясь на жену с кулаками, — где Сенька?

Та клянется и крестится — ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке — молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька. Вздывается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди. В драку втирается городской и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька не при чем.

— Я не антиресуюсь вашей супругой, — говорит он, — немислимое это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и карзубая...

От этих выражений кузнец опять наливается злобой:

— Моя жена огурец? Моя жена карзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Ра-аз! У-у-х!

И опять начинается драка.



Расстрига Даниил, когда напивался, то настойчиво и зло искал чорта, расспрашивая про него прохожих.

— Мне бы только найти, — гудел он, пробираясь вдоль заборов, — я бы в студень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти!

К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой:

— Дядюшка дьякон, ты кого ищешь?

— Чорта, брат ситный, чорта, который весь мир мутит! — в отчаянности вопиял дьякон. — Не видал ли ты его, ангельская душенька?

— Видал! Он не удалеча здесь... Пойдем со мною, дядюшка-дьякон... Я покажу тебе!

Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева.

— Он тут... в подвальчике... — потаенным шепотом объяснял Филиппка.

Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика:

— Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!

Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу.

Из подвального помещения вылетал похожий на моль низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил.

— Держите Вельзевула! — грохотал он исступленной медью страшного своего баса. Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе Царство Небесное!

Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городского, и все становились веселыми и как бы пьяными.

За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку.

Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой...

Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине и на том же дворе, где проживали озорные ребята. Ак-



гер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой.

Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотистую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо от чего вспыхнул весь, застыдился вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью... Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал.

В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал:

— Меня зовут Филипп Васильевич!

— Очень приятно, — тростинкой прозвенела девочка, — а меня Надежда Борисовна... У тебя очень красивый костюм, как в театре...

Филиппка обрадовался и подтянул песстрые штаны свои.

После этой встречи его душа стала сама не своя.

Он пришел домой и попросил у матери мыла — помыться и причесать его. Та диву далась:

— С каких это пор?

Филиппка в сердцах ответил:

— Вас не спрашивают!

Вымытым и причесанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок — высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели.

Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблоков, то семечек, а однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности.

Два дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал:

— Хочу с тобою поговорить!



— Об чем речь? — спросил Филиппка, поджимая губы.

Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник.

— Видал?

— Вижу... десять копеек!

— Маленькая с виду монетка, — говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами, — а сколько на нее вкусуностей всяких закупить можно. К примеру, на копейку конфет «Дюшес» две штуки, за две копейки большой маковый пряник...

— Во-о, вкусный-то, — не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза, — так во рте и тает. Лю-ю-блю!

— На три копейки халвы, на копейку стакан семечек, на две каленых али китайских орешков, — продолжал Агапка, играя серебряком, как мячиком.

— Ну, и что же дальше? — жадно спросил Филиппка, начиная сердиться.

Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как «Гуак верный воин», про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник.

— Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу! Но только прошу те-

бя... — здесь голос Агапки дрогнул, — не ухаживай за Надей... Христом Богом молю! Согласен?

Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул:

— Согласен!

На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.

Когда наелся он всяких сладостей, так что мутить стало, — вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался.

На другой день ему стыдно было выйти на улицу, он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть, и перед смертью попросить прощения у Нади, и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы!»

Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл.

И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль:

— Отдать гривенник обратно! Но где взять?



Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание.

— Драть будут... — подумал он, — но ничего, претерплю. Не привыкать!

Филиппка вытащил из коробочки гривенник. Выбежал на улицу. Разыскал Агапку и сказал ему:

— Я раздумал! Получай свой гривенник обратно!

Весенний хлеб

В день Иоанна Богослова Вешнего старики Митрофан и Лукерья Таракановы готовились к совершению деревенского обычая — выхода на перекресток дорог с обетным пшеничным хлебом для раздачи его бедным путникам.

Соблюдалось это в знак веры, что Господь воззрит на эту благостыню и пошлет добрый урожай. До революции обетный хлеб выпекался из муки, собранной по горсти с каждого двора, и в выносе его на

дорогу участвовала вся деревня. Шли тихим хождением, в новых нарядах, с шепотной молитвой о ниспослании урожая. Хлеб нес самый старей и сановитый на селение деревни.

Теперь этого нет. Жизнь пошла поновому. Дедовых обычаев держатся лишь старики Таракановы. Только от них еще услышат, что от Рождества до Крещения ходит Господь по земле и награждает здоровьем и счастьем, кто чтит Его праздники; в Васильев день выливается из ложки кисель на снег с приговором: «Мороз, мороз! Поешь нашего киселя, не морозь нашего овса». В Крещенский сочельник собирается в поле снег и бросается в колодец, чтобы сделать его многоводным, в прощенное воскресенье «окликают звезду», чтобы дано было плодородие овцам; в чистый понедельник выпаривают и выжигают посуду, чтобы ни згинки не было скоромного; в Благовещенье Бог благословляет все растения, а в Светлый день Воскресения Юрий — Божий посол — идет к Богу за ключами, отмыкает ими землю и пускает росу «на Белую Русь и на весь свет».



На потеху молодежи старики Таракановы говорят старинными, давным-давно умершими словами. У них: колесная мазь — коляница, кони — комони, имущество — собина, млечный путь — девьи зори, приглашение — повещанки или позыватки, запевало — починальник, погреб — медуша, шуметь на сходе — вичать, переулки — зазоры.

Речь свою старик украшает пословицами и любит похвалиться ими: так, бывало, и сеет старинными зернистыми самоцветами. Соседу, у которого дочь «на выданье», скажет:

— Заневестилась дочь, так росписи готовь!

Про себя со старухой говорит:

— Только и родни, что лапти одни!

Соседского сына за что-то из деревни выслали, и старик утешал неутешную мать:

— Дальше солнца не сошлют, хуже человека не сделают, подумаешь — горе, а раздумаешь — воля Божья!

Бойким веселым девушкам тихо грозит корявым пальцем:

— Смиренье — девушки ожерелье.

Баба жаловалась Митрофану на нищее житье свое, а он наставлял ее:

— Бедная прядет, Бог ей нитки дает!...

Лукерья, маленькая старушка с твердыми староверскими глазами, старую песню любила пестовать.

Послушает она теперешние, вроде «О, эти черные глаза», и горестью затуманится:

— В наше время лучше пели, — скажет со вздохом и для примера запоет причитным голосом:

*Ах, ты, матушка, Волга реченька,
Дорога ты нам пуще прежнего,
Одарила ты сиротинушек
Дорогой парчой, алым бархатом,
Золотой казной, жемчугами-камнями...
И в долгу-то мы перед матушкой,
И в долгу большом перед родненькой.*

К выносу на дорогу «обетного хлеба» Митрофан и Лукерья готовились с тугой душевной. Вчера Лукерья собирала по всей деревне муку для «обычая», но никто ничего не дал, только на смех подняли.

Рано утром в избе Тараканова запахло горячим хлебом. Пока он доходил в печи, Митрофан стоял перед иконами и молился.



В поддень стали готовиться к выносу. Хлеб задался румяным и наливным. Старуха перекинула его с руки на руку и сказала:

— Хышь на царскую трапезу!

Старик постучал по загаристой корке и высловил:

— Сущий боярин!

Хлеб положили на деревянное блюдо, перекрестили его и покрыли суровым полотенцем. Старик принял его на обе руки. Лукерья открыла дверь и сказала вслед:

— Как по занебесью звездам несть числа, дак бы и хлебушка столько добрым людям...

Митрофан пошел по деревенской улице. Он был без шапки, с приглаженными волосами, с расчесанной на две стороны бородою, в длинной холщевой рубахе. Концы полотенца с вышитой занизью свисали до земли, как дьяконский орарь.

Парни и девки, стоявшие у раскрытых окон Народного дома и слушавшие радио, увидев Митрофана, засмеялись. Подвыпивший парень в манишке и сползающих манжетах махнул старику бутылкой водки и надсадно хамкнул:

— Гони сюда закуску!

Старик остановился и степенно ответил:
— Не смейтесь, ребятки! Хлеб Господень несущу!

Митрофан дошел до перекрестка и остановился. Дороги были тихими, прогретыми майским солнцем. Веселой побужкой гулял ветер, взметывая золотистую пыль.

От запаха ли пыли, пахнувшей по весне ржаными колосьями, или от зеленой зыби раскинувшегося ржаного поля Митрофан стал думать о хлебе:

— Даст ли Господь урожай?

Вспомнились прежние градобития, неумные дожди, иссушающие зной, и во рту становилось горько, а хлеб на руках потяжелел. Солнце играло с ветром. Митрофан залюбовался их игрою и сразу же осветился:

— Ничего, — сказал нараспев, — Микола Угодник умолит, вызволит мужика из беды... Он, Микола-то, по межам ходит, хлеб родит, да и к тому же в Крещенье снег шел хлопьями, а это всегда к урожаю...

На автомобиле проехали городские люди. С широким удивлением посмотрели на бородатого высохшего старика, сто-



явшего у дорожного вскрая: откуда это древнее видение? Кого он поджидает с хлебом-солью среди пустых полей?

Мимо старика проехал велосипедист в кожаной куртке и таких же штанах. Он остановился и спросил:

— Ты, старина, зачем тут стоишь?

— Бедных зашельцев поджидаю...

— А это для чего?

— Хлебушком хочу с ними побрататься... Обычай такой у нас... старинный... шtbody это Господь за нашу милость урожай хороший послал...

Велосипедист покачал головой. Время уходило за полдень, а из нищей братии никто не показывался. Это начинало тревожить Митрофана.

— Плохой знак... недобрый... Не посылает Господа ни одного доброго человека... Вот что значит одному-то выходить с хлебом!.. Пошли бы, как встарь, всей деревней, Господь-то и услышал бы.

От усталости Митрофан присел на придорожный камень и задумался. Думы были тяжелые. Чтобы не так больно было от них, он старался дольше и глубже смотреть на поля. Несколько раз повторит:

— Своя земля и в горсти мила!

В думах своих не заметил, как мимо прошел человек в рваной «чернизине» и босой. Митрофан прытко поднялся с камня и крикнул вслед:

— Эй! Поштенный! Остановись!

— Чево? — повернулся прохожий.

— Вы из нищих? — радостно спросил старик, приближаясь к нему с хлебом.

Прохожий плюнул и выругался.

Подойдя поближе, старик признал в нем скупого лавочника из Верхнего села.

Почти до вечера простоял Митрофан на перекрестке и никого из нищей братии не дождался.

Древний свет

Дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае I. Сложен он из просмоленных кряжистых бревен, ставших от времени сизыми, с зазеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную Торговую улицу, застроенную



новыми каменными домами. На прожженных солнцем ставнях — вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика, когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. Над входом прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят. Если открыть тяжелую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая — выжженный огнем четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечиста. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разлапистые клены. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом — в сквозной полумгле сеней разжигается самовар сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драгьем. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани.

Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу: дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю.

Сын Федота Абрамовича, Артемий, бойкий, идущий в гору торговец, ждет

не дожидается смерти старика — дом сразу же он снесет и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот хмурился и отрывисто возражал:

— Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь!

Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал еще более упрямый отпор:

— Не имеют законного права! Моя собственность!

В один из летних вечеров я пошел навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. По утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком. Нащупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на Валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича ямщиком он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские доро-



ги, по которым рассыпалась побежчивая гремя, русских людей, сидевших в кибитке, то хмельных, то влюбленных, то иступленных, тоскою и буйным весельем одержимых... Пушкин с Гоголем вспомнится... Версты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоялого двора. Многое передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет:

— Кого Бог привел?

Он распахнул дверь, взгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки.

— Ба! Пачечайный гость! Милости просим, нерасстанный друг мой!

Не успел слова сказать ему, Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льет воду, трещит лучинками и, по старой своей привычке, напевает старинным деревенским ладом:

*Цвели в поле цветики да поблекли,
Любил парень девушку да спокинул,*

*Покинул, душа моя, не надолго,
На едино времячко, на часочек.*

В который-то раз я рассматриваю горенку Федота Абрамовича, и всегда она кажется желанной! Таких горенок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи — преподобный Сергей Строитель. На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотно. Лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадильце. Пучок поблекших верб. На особой под иконой полочке скляница с богоявленской водой, огарки свечей от Страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб — артос, кожаный синодик с именами усопших — первыми записаны император Александр Второй — Освободитель, иеросхимонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами: «И всех сродников от века преставшихся помяни, Господи». Рядом с иконами редкие, на русских ярмарках купленные литографии: «Святая гора Афон», «Возрасты человека», «Страшный Суд», «Сожжение протопopa Аввакума».



На резной дубовой полке книги в старых кожаных переплетах — «Добротолюбие», «Патерик», «Часослов», «Житие преподобного Александра Свирского». Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушеными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуреты с выжженными ржаными снопами на сиденье. В углу, на дубовых колесиках тяжелый сундук, окованный железом, и в недрах его что ни вещь, то столетие...

Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов и грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю: «Все это прошлое, освященное любовью и молитвенным шепотом, перейдет к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережет. Что поценнее, как, например, икона Сергия Строителя, продаст, а остальное пожжет или на чердак выбросит».

— Не соответствует веку! — скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает.

В раскрытые окна входит вечер. Клены рассыпают прохладу. На их листьях кача-

ется за вечеревшее солнце. Шумит самовар, на нем отчеканено: «Фабрика в Туле братьев Стрельниковых». Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по-славянски: «Приемлю и ничесоже противнаго глаголю». По ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, вьется резная русская поговорка: «Хлеб-соль ешь, а правду режь». На деревянной чашке с медом ложка монастырской работы, а на донце ее мелко-мелко выжжена Троице-Сергиевская лавра.

Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце. Сам весь улыбается — рад почаевничать с пачечайным гостем.

— Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого! Кроме святого угодника, — кивает он на икону, — никого у меня! Один, как часовня в поле!

— Артемий Федотыч, поди, заходит! — добавил я.

Старик мотнул головою:

— И-и! Третий месяц глаз не кажет! Некогда. За наживой гонится, неумная душа! Эх, деньги, деньги, семена дьявола... Пристает тут ко мне Артемка смолою



едучей: сноси-де дом! Новый построим. В пять этажей. Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и выгодное, но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтоб не срастись душою и телом с привычным, дыханием обогретым, местом... Пусть пождет Артемий. Жить мне осталось немного — во рту уж земляная горечь, ма-тушка земля к себе зовет!

Стараясь быть спокойным, он спросил меня словно невзначай.

— А правда, бают люди, что закон такой выходит, старые дома ломать?

— Поговаривают, но...

Он не дал мне досказать.

— Ну, что ж. Против рожна не по-прешь! Да, строится жизнь, шибко строится, а лет тридцать тому назад на нашей улице рожь росла и жницы песни пели... Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, кладбище было старинное. Дубы росли. На синей горе стояла церковь св. Федора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса

шумели, а теперь их повырубили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. «Имя наше забудется, — как говорит премудрый Соломон, — никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как облако, и рассеется, как туман».

— Трудно, поди, благословить вам нашу теперешнюю жизнь? — спросил я Федота Абрамовича.

— Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить ее, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица мало-мальски светлого не встретишь... Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячинкой: серой, дикой и неустроенной, но зато от многих сияние шло, Христос по земле любил ходить...

Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождем. В горнице потемнело. На улице трещало радио. У промчавшегося автомобиля лопнула шина. Черным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца до-



носился вой футболистов. В городском саду оркестр играет модный шлягер «Твои ноги, как змеи».

— Эк их, шумят! — мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. — Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди ведь, у всякого востосковала душа по земле Божьей, по тихой поступи... Нужен человеку покой, ой как нужен! По малообразованию своему трудно мне изъяснить теперешнее положение мира, но чувствую: нескладная и тяжелая у человека жизнь!

Но уходе от Федота Абрамовича я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нем одном всегда теплилась лампада. Древний свет ее в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.

Алтарь затворенный

В глубине большого сибирского леса звонили. Звон ясный, прохладный, как да-

лекое журчание родника. Словно заря с зарею, он сливался с густым шумом апрельского леса, вечерними туманами, лесными озерками талых снегов, с тонким звенящим шелестом предвесенья.

Я затерялся в лесной чаще и пошел навстречу звону. В белом круге тонких берез показался убогий монастырский скит. Вечернее солнце золотило бревенчатый храм. В пролете колокольни седая, в черной скуфье голова звонаря.

Я вошел в святые врата обители и сел на скамью. На колокольне отзвонили. Ко мне подошел седой инок.

— Звонарь Антоний, — сказал он и уставно поклонился. — Редко кто заходит в нашу обитель... Видите, каково запустение.

— Много ли у вас братии? — спрашиваю.

— Кроме меня, никого. Все ушли в страну далечу... Кто лесной суровости не выдержал и в мир ушел, а иные смерть мученическую прияли...

Года три тому назад пришли к нам в ночь на Успенев день... Очень били нас. Глумились. Иконы штыками прокальвали... В ту ночь расстреляли они схимника



Феоктиста, иеромонаха Григория, иеромонаха Македония, иеродьякона Сергия, послушника Вениамина...

Он посмотрел на близлежащее скитское кладбище.

— Теперь один я здесь! По-прежнему звоню молитвословлю, в огороде копаюсь, в лес за дровами хожу...

— А не боитесь, что на ваш звон опять придут сюда?

— Пусть приходят, но я устава нашего не преступлю... Одно прискорбно, что много лет как затворены ворота в алтарь Господень и некому совершить литургию...

На время задумался, опустив голову, а потом опять вскинул на меня золотые от заката глаза и сказал:

— Завтра Великий понедельник! Ежели можешь, то пойдем со мною молиться...

Мы ступили в завечеревшую церковь.

Антоний затеплил свечи перед затворенными воротами алтаря и стал на клирос. Свечи осветили пронзенные штыками старые иконы.

Началась великая страстная утренняя.

Вся русская земля зазвучала в древнем каноне Страстной седмицы:

«Непроходимо волнующееся море... Божиим своим велением изсушившему...»

Свеча

Вечерним лесом идут дед Софрон и внучек Петька.

Дед в тулупе. Сгорбленный. Борода седая. Развевает ее весенний ветер.

Под ногами хрустят ломкие подзимки. Петька шагает позади деда. Ему лет восемь. В тулупчике. На глаза лезет тяткина шапка. В руке у него верба, пахнувшая ветром, снежным оврагом и чуть-чуть тепловатым солнцем.

Лес гудел зарождающейся весенней силой. Петьке почудился дальний звон. Он остановился и стал слушать.

— Дедушка!.. Чу!.. звонят...

— Это лес звенит. Гудит Господень колокол... Весна идет, оттого и звон!.. — отвечает дед. Петька спросил деда:



— В церкву идем, дедушка?

— В церкву, любяга, к Светлой заутрене.

— Да она сторела, дедушка! Летось ведь пожгли. Нетути церкви. Кирпичи да головки одни...

— Ничего не значит! — сурово отвечает Софрон.

— Чудной!.. — солидно ворчит Петька, — церкви нетути, а мы бредем! Марá что ли на деда напала? Сапоги только истяпаем!

Среди обгорелого сосняка лежали черные развалины церкви. Дед с внуком перекрестились.

— Вот и пришли... — как бы сквозь взрыд сказал Софрон. Он долго стоял, опустив голову и свесив руки. Приблизалась знобкая, но тихая пасхальная ночь. Софрон вынул из котомки толстую восковую свечу, затеплил ее, поставил на камень среди развалин. Помолился в землю и запел:

— Христос воскресе из мертвых...

Похристосовался с внуком и сел на обгорелое бревно.

— Да... Шесть десятков лет ходил сюда. На этом месте с тятенькой часто сто-

ял и по его смерти место сие не покинул. Тут икона святителя Николая стояла... В одной ручке угодник церковочку держал, а в другой меч... И бывало, что ни попросишь у него, он всегда подаст тебе!.. До-о-брый угодник, послушливый да зовкий!.. Да, вот... А тута, любяга, алтарь стоял... Встань на коленки и поклонись, милой, месту сему... Так вот... Эх, Петюшка, Петюшка...

Ничего больше Софрон не сказал. Он сидел до того долго, что Петьке захотелось спать. Он сел с дедом рядышком и опустил голову на его колени, а дед прикрывал его полою тулупа.

Солнце играет

Борьба с пасхальной заутреней была задумана на широкую ногу. В течение всей Страстной недели на видных и оживленных местах города красовались яркие саженные плакаты:



«Комсомольская заутреня!

Ровно в 12 ч. ночи.

Новейшая комедия Антона Изюмова

«Христос во фраке».

В главной роли артист Московского театра

Александр Ростовцев.

Бездна хохота. Каскады остроумия».

До начала спектакля по всем улицам города прошел духовой оркестр для зазыва публики. Впереди оркестра ражий дед в священнической ризе и камилавке нес наподобие церковной хоругви плакат с изображением Христа в цилиндре. По бокам шли комсомольцы с факелами. Город вздрагивал. К театру шла толпа. Над входом горели красными огнями электрические буквы «Христос во фраке». На всю широкую театральную площадь грохотало радио — из Москвы передавали лекцию «о гнусной роли христианства в истории народов».

По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился хор комсомольцев. Под звуки бубенчатых баянов хор грянул плясовую:

*Мне в молитве мало проку,
Не горит моя свеча.*

*Не хочу Ильи пророка,
Дайте лампу Ильича!*

Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом, подбоченилась, оскалилась, хайнула бродяжным лесным рыком:

— Наддай, ребята, поматюжнее!

*Три старушки-побирушки,
Два трухлявых старика.
Пусто-пусто в церквушке,
Не сберешь и пятака.*

— Шибче! Прибавь ходу! Позабористее!

*Ах, яичко мое, да не расколото,
Много Божьей ерунды нам напорото!*

— Сла-а-бо! Го-о-рь-ко!

— Про Богородицу спойте!.. Про Богородицу!

В это время из маленькой церкви, стоявшей неподалеку от театра, вышел пасхальный крестный ход. Там было темно. Людей не видно — одни лишь свечи, тихо идущие по воздуху и поющие далеким родниковым всплеском: «Воскресение Твое Христе, Спасе, ангели поют на небеси...»

Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще разошелся, пустив в прискачку, с гиканьем и свистом:



*Эй ты, яблочко, катись
Ведь дорога скользкая.
Подкузьмила всех святых
Пасха комсомольская.*

Пасхальные свечи остановились у церковных врат и запели: «Христос воскрес из мертвых...»

Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На декоративном престоле — бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола, на высоких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облаченный в дьяконский стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с лицом, искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику. В антракте говорили:

— Это цветочки... ягодки впереди! Вот, погодите... во втором действии выйдет Ростовцев, так все помешаемся от хохота!

Во втором действии, под вихри исступленных оваций, на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев.

Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. Он нес в руках золотое Евангелие.

По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два евангельских стиха из заповедей блаженства. Медлительно и священнодейственно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес:

— Вонмем!

В зале стало тихо.

Ростовцев начал читать:

— Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное... Блаженны плачущие, ибо они утешатся...

Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами:

— Подайте мне фрак и цилиндр!

Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становится до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, ма-



хать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит.

Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон. По лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше:

— Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивии, ибо они помилованы будут...

Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, — но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комаринным жужжанием.

И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, слова Христа:

— Вы свет мира... любите врагов ваших... и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...

Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевелился. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги и раздавался громкий шепот. Там уверяли друг друга, что артист шутит, это его излюбленный трюк, и сейчас, мол, ударит в темя публики таким «коленцем», что все превратится в веселый пляшущий дым!

Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну.

Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес:

— Помяни мя, Господи, егда приидиши во Царствие Твое!..

Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили занавес.

Через несколько минут публике объявили:

— По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшней наш спектакль не состоится.



Молитва

Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое и славится лишь на всю округу густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо-сирень от всякого мора охраняет, — ну и приветили это древо у себя, и дали развернуть-ся ему от края до края.

В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле.

В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его «горе-священником», так как и умом он скуден, и образования маленького, и лицом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь.

— Но зато в Бога так верит, — говорили в ответ полюбившие его, — что чудеса творить может!

Меня уверяли чуть ли не клятвою: когда отец Анатолий молится, то лампы и свечи сами собою загораются!

Окна батюшкиной горницы были открыты в сад, на белую ночь, всю в сирени,

зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим.

Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облекся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая гребнем рыжеватую пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.

Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал затеплять перед иконами все лампы.

Темный передний угол осветился семью огнями.

Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи.



И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия.

Он приник головою к полу и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо к Нерукотворному Спасу — большому черному образу посредине — и начинает разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее:

— Опять обращаюсь к Твоей милости и до семьдесят седьмин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего!..

Подними с одра болезни младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего... Пожить ему хочется... Только и бредит лугами зелеными, да как он грибы пойдет собирать, и как раков ловить... Утешь его, мальчонку-то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи, Господи, Господи!.. Один он у родителей-то... Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..

Господи! Как мне легко помыслить о воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца! Надоел я Тебе, Господи, моль-

бами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!

Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:

— Помоги... исцели... Егорку-то!.. Младенца Георгия!..

Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога.

Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние...

Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успокоился.

Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу.

Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же упованием и твердостью.

— Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно



спасти от зловредного винопития раба Твоего Корнилия... и паки молю: спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут... Скоро в кусочки они пойдут... Не допусти, Господи! Подкрепи его... Корнилия-то!

Прости такожде раба Твоего Павлушку... т. е. Павла. Павла, Господи! Я все это Тебе по-деревенски изъясняю... Огрубел язык мой... Так вот, этот Павлушка... по темноте своей... по пьяному делу песни нехорошие про святых угодников пел... проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на нее... Ты прости его, Господи, и озари душу его!.. Он покается!

И еще. Господи, малая добука к Тебе... Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова... Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем обветшала... в заплатках вся... Благослови его, Милосердный... Он добрый!

О чем же еще я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший... и чтобы это травы были... и всякая овощь, и плод... А Дарья-то Иванникова поправи-

лась. Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твое!.. Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!

Вот и все пока... Да!.. еще вот, спаси и помилуй гостя моего здесь лежащего раба Твоего Василия... Ему тоже помоги... Он душою мается...

И еще спаси и сохрани... раба Твоего... как это его по имени-то?

Отец Анатолий замаялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.

— Ну, как же это его? Вот память-то моя стариковская!.. Да, вот этого... что у Святой горы проживает... и пчельник еще у него... валенки мне подарил... Добрый он... Его все знают... Борода до пояса... у него... Ну, как же это его величают? На языке имя-то!..

Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал Ему:

— Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь... Прости меня, Милосердный, за беспокойство... Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас грешных и недостойных?



Отец Анатолий погасил лампы, оставив лишь гореть одну, перед Нерукотворным Спасом.

Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:

— Спит человек!.. А спать-то пошел, видимо, не помолившись... Эх, молодость! Ну, что тут поделаешь?.. Надо перекрестить его... Огради его, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста и спаси его от всякого зла...

Тробица

Все были изумлены, когда увидели за всеобщим бдением Якова Льдова. За свое 15-летнее проживание в посаде слыл он за безбожника и отступника, так как церкви не признавал, праздников Господних не почитал и обо всем божественном отзывался с хулой и злобой.

Осел он в посаде после гражданской войны, построил большой дом, женился на какой-то пришлой молчаливой бабе и

заялся крестьянством. Кто он, откуда — никто не знал, а спросить его не решились. Яков образом был темен, волосат, угрюм, на слова скуп, глаза имел пронзительные и человеконенавистные. Именем его пугали беспокойных ребят, и все были уверены, что он если не бывший душегуб, то во всяком случае каким-то черным грехом отягощенный. Знали только доподлинно, что он имел немалые деньги, шибко пил, и причем один, ночью, при свечке, при закрытых ставнях.

При входе его в церковь все перешепнулись и стали искоса смотреть на него. Яков стоял прямо, не шевелясь, опустив по швам длинные угрюмые руки. Всех занимал вопрос: перекрестится Яков или нет? Он стоял без движения, остро уставившись в темный угол, и даже не опустился вместе с другими на колени, когда пели «Хвалите имя Господне». Почему-то впервые только в церкви заметили, что Яков стал седым, похudevшим и как бы восставшим от долгой болезни.

Всенощная приближалась к концу. За окнами шумел церковными деревьями густой августовский вечер. После пропетия



«Взбранной Воеводе» и расстанного, на сон грядущий, благословения отца Кирилла церковь стала пустеть. И когда в ней, кроме священника да причетника, гасившего лампы, никого не стало, к амвону подошел Яков Льдов.

— Тебе что, Яков? — спросил священник.

— К вам, батюшка. Исповедаться хочу.

По горячей возбужденности тона и той нутряной боли, какая прозвенела в словах его, отец Кирилл почувствовал, что исповедь предстоит серьезная, глубокая и, может быть, страшная...

В полутемной церкви, озаренной лишь лампадами перед иконостасом, отец Кирилл начал таинство исповеди. Подойдя к аналою с лежащим на нем крестом и Евангелием, Яков стал исповедаться. Говорил он отрывисто, утрумо и тяжело, словно поднимал целину, часто задумывался и вытирал пот на лбу. Временами озирался по сторонам и цепко хватался за аналой.

— Мы отступали, — рассказывал он, — на город наступали красные. Нашей армии приходил конец. И вот, чтобы

обеспечить себе положение в другой стране, решились мы, пять человек, на одно необыкновенное дело — украсть из собора серебряную, драгоценными камнями украшенную гробницу преподобного. Составили мы план. Раздобыли лошадей. На дровнях (зимой дело было) подъехали мы к собору. Требуем церковного сторожа (духовенство бежало за границу). Является церковный сторож.

— Ключи от собора, — требуем, — открывай!

— На что вам? — спрашивает сторож.

Объясняем ему, так мол и так, сегодня ночью в город войдут красные — и нам главнокомандующий приказал срочно вывезти из собора мощи преподобного за границу, дабы коммунисты не надругались над ними...

— Ежели не веришь, — говорим, — вот мандат за печатью и подписью главнокомандующего.

Поверил нам сторож и открыл собор. Вечерело. Снег пошел, густой-прегустой. На улицах ни живой души. Все затаились. Вдали орудия бухают. На душе знобно было, но все же вошли мы в со-



бор и приступили к делу. С большим трудом вытащили гробницу да на дровни, прикрыли тряпьем и соломой, гикнули на лошадей и поехали обходными путями к рубежу этого государства, где я живу уже шестнадцатый год. Всю ночь ехали мы лесными дорогами, утопая в снегу, и путь наш освещался заревом большого пожара — деревня горела. И вот мы за рубежом. Остановились. Лес — густой-прегустой. Тут с одним нашим приятелем неладное приключилось. В разуме тронулся.

Подошел это он к гробнице преподобного, да как закричит, да как восклицет, мы даже побледнели все. Стал он то смеяться, то плакать и разные непутевые слова произносить. Чтобы не возиться с ним, один из наших его из нагана прикончил...

Отец Кирилл нервно взялся за наперсный крест, и рука его ходила дрожью.

Яков задумался, и лицо его сводила судорога. Он долго смотрел на свои руки, поднося к глазам то одну ладонь, то другую. Вынул из кармана платок, развернул его и не знал, что с ним делать.

Священник вывел его из оцепенения тихим вопросом:

— Что же произошло дальше?

— Дальше, батюшка, произошло самое страшное. Мы развели костер и стали делить нашу добычу на четыре части.

— Гробницу?

— Да, гробницу. Во-первых, мы сняли с гробовой крышки драгоценные камни, серебряные кресты, золотые пластинки, а далее... топором разрубили серебряный гроб на доли.

— Как же вы поступили с мощами святого? — в ужасе прошептал священник.

— Мы вынули мощи из гроба, вырыли яму и захоронили их...

— Так, значит, мощи святого лежат в нашей земле?

— Да... здесь... неподалеку... но в каком месте — не помню...

Почти до рассвета в окнах домика отца Кирилла горел огонь, и запоздалые путники видели, как священник в тяжелом раздумье ходил из угла в угол, изредка оставаясь перед иконами. Долго не гасился свет и в окнах Якова Льдова.



Вериги Толстого

Дед Арсений попросил нас выслушать его слово по поводу нашего разговора. А говорили мы о духовных исканиях Льва Толстого и о ночном бегстве его из Ясной Поляны.

— Вот вы говорите, — начал он, — что возвеличенный сочинитель и правды Божьей искатель Лев Николаевич ночью бежал из дома. А ведомо ли вам, ребята, куда он хотел бежать?

— В этом, дедушка, загадка! Никто точно не знает. По-разному толкуют.

Землистое, тронутое дыханием предсмертья лицо Арсения стало хмурым. После долгого прислушивания к себе он сказал:

— А я знаю!

— Куда же?

— Лев Николаевич в монастырь пошел!..

— Про это мы тоже слышали и в книжках читали.

Старик опять возразил:

— Слышать-то вы слышали, а только не знаете, зачем он туда стремился.

— Успокоиться хотел. Душа у него металась!

— Это верно, — согласился Арсений, — но окромя этого была у него и другая причина!..

— Какая же?

— Перед смертью он хотел вериги с себя снять и в монастыре их оставить...

— Ну уж, дедушка, это побасенки! — улыбнулись мы. — Никаких вериг Толстой не носил. Жизнь и смерть его изучены до последней мелочи!

Старик рассердился.

— А я говорю вам, что Лев Николаевич вериги носил! Мне верный человек про это сказывал. Собственными глазами этот человек видел, как вериги Толстого в землю зарывали!

— Расскажи, дедушка, обстоятельнее, кто это тебе рассказывал и как эти вериги в землю зарывали?

Медлительно, как житие, Арсений стал рассказывать:

— Лета два спустя после упокоения Льва Николаевича попросился ко мне на ночлег один захожий человек. Сидим это, как-то, с ним за чаем и беседуем. И вот,



— Промеж прочего разговора, спрашивает он меня: слышал про Толстого? Как не слышать, — отвечаю, — умственный был человек! До слез, — говорю, — книжки его люблю читать, где он про мужиков да про любовь Христову пишет...

И говорит мне захожий человек, что служил он-де на станции Остапово и видел, как умирал Толстой...

Арсений обратился к нам с вопросом:

— Вам, ребята, ведомо, что к смертному одру Льва Николаевича никого не допускали, даже супругу его Софью Андреевну?

— Ну, и что же?

— А почему не допускали? Вот в этом-то, ребята, вся и загвоздка! А потому не допускали, что друзья Толстого железные вериги с него снимали!

— Но как же этот захожий человек мог знать, что с Толстого снимали вериги?

— Слушайте дальше. Лев Николаевич упокоился. В этот же день идет мой знакомец по служебному делу лесной дорогой. Были сумерки. И вот слышит он человечью речь в лесу... Разобрало его любопытство — дай-де погляжу, что за

люди и о чем беседа их? Через чащобу пробираются два человека. У одного из них мешок на спине, а в мешке железо звенит. У другого — заступ. А говорили они вот о чем:

— Не стало Толстого, — сказал один.

— И кто мог помышлять, — отозвался другой, — что Лев Николаевич вериги носил и в монастыре снять их хотел!

Говорили они еще про какую-то зарытую зеленую палочку...

Арсений остановился и по-крестьянски глубоко задумался. Изба наполнялась густыми тенями от напозавшей издали грозовой тучи.

— Ну, а дальше что?

— А дальше вот какое действие приключилось... Остановились эти люди среди глухой чащобы и стали землю рыть... Вырыли яму. Вытащили из мешка железные вериги и захоронили их...



Пушкин и митрополит Филарет

В Николин день 1828 года митрополит Филарет окончательно решил уйти на покой.

Он сел за письменный стол, взял большой лист плотной голубой бумаги, осмотрел гусиное перо, перекрестился и стал писать:

«Всемиловитейший Государь!

Священный долг служить Вашему Императорскому Величеству верою и правдою особенно вожделенным для меня делает благодарность к милостям и благодеяниям Вашего Императорского Величества, неизреченно для меня великим...»

Тут он остановился и задумался:

— Да, тяжело мы пишем... Тяжело... Пушкин учит, как писать, да не слушаемся... Да... Пушкин... Александр Сергеевич... Упрямые и жестоковыйные мы люди!

Митрополит опять заскрипел гусиным пером:

«Но, при сознании внутренних моих недостатков, немощь телесная, в течение немалого времени едва преодолеваемая при-

нужденными усилиями, наконец, отнимает у меня надежду соответствовать обязанностям вверенного мне служения...»

— Я устал! От всего я устал! — сказал он вслух, не отрываясь от письма. — С душою некогда побеседовать!

«Посему приемлю дерзновение, Ваше Императорское Величество, всеподданнейше просить об увольнении меня от управления вверенной мне епархией и дозволить избрать жительство в одном из монастырей...»

— Да, тяжелый язык, тяжелый! — опять подумал митрополит, скрепляя прошение подписью:

«Вашего Императорского Величества верноподданный, митрополит Московский и Коломенский Филарет».

— Завтра отправлю по назначению. Буду ждать Высочайшей резолюции!

На другой день И.В. Киреевский послал митрополиту на прочтение новое стихотворение Пушкина:

*Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?..*



Перед духовными очами митрополита предстала душа великого поэта. До содрогания стало жалко его, потерявшего самое драгоценное в жизни — веру в жизнь и в свое на земле призвание. В митрополите заговорил вдруг пастырь, призванный спасать человека. Все, что его тяготило и мучало за это время, уступило место ясному и глубокому сознанию своих задач и высокой своей посвященности...

— Нельзя же так, Александр Сергеевич! — подумал он тепло и нежно. — Такая сила тебе дадена, и вдруг взываешь ты в тоске: «Дар напрасный, дар случайный...» Всем нам тяжело, Александр Сергеевич...

Во время вечерних, на сон грядущий, молитв митрополит опять вспомнил стихотворение Пушкина.

Он положил земной поклон.

— Мир и успокоение подаждь душе раба Твоего Александра, ибо нужен он народу нашему... Во тьме ходящему!

И когда произнес эти слова, что-то яркое вспыхнуло в душе его. Он не мог больше молиться. Не закончив «вечернего

правила», он поднялся с колен, зажег свечу, взял перо и быстро стал писать:

*Не напрасно, не случайно
Жизнь судьбою мне дана;
Не без правды ею тайно
На тоску осуждена.*

*Сам я своею властью
Зло из тайных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.*

*Вспомнись мне, забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждутся Тобою
Сердце чисто, светел ум.*

— Будь что будет! — сказал он. — Но эти строки пошлю Пушкину, как ответ на его горькие слова.

Тут он взглянул на конверт, адресованный Государю Императору.

— Нет, нельзя мне покидать кафедры ради безмолвного монастыря, — решил он, — надо потрудиться! Ради тех великих и малых потрудиться, кои томятся тоскою и сомнениями в присномутном житии нашем! Подвиг надо воспринять! Кто же утешит? Кто спасет?

Филарета долго томила мысль: дошел ли ночной его голос до сердца поэта?



И вот однажды получает он строки, написанные рукою самого Александра Сергеевича Пушкина:

*...И ныне с высоты духовной
 Мне руку простираешь ты,
 И силой кроткой и любовной
 Смиряешь буйные мечты.*

*Твоим огнем душа пала
 Отвергла мрак земных сует,
 И внемлет арфе серафима
 В священном ужасе поэт.¹*

— Слава Тебе, Христе Свете Истинный, — перекрестился митрополит, — что пробудил малым, неискусным моим словом душу великого поэта!

И поцеловал пушкинские строки.

¹Первоначально, до цензурской правки, текст был таким:

*Твоим огнем душа согрета
 Отвергла мрак земных сует,
 И внемлет арфе Филарета
 В священном ужасе поэт.*

Оглавление

Дорожный посох	3
Из воспоминаний детства	
1. Крещение	66
2. Кануны Великого поста	71
3. Торжество Православия	79
4. Великая суббота	88
5. Иванушка	93
6. Радуница	100
7. Отдание Пасхи	107
8. Яблоки	113
9. Певчий	120
10. Святое Святых	128
11. Тайнодействие	135
12. Юродивый Глебушка	141
13. Московский миллионщик	151
Любовь — книга Божия	162
Весенний хлеб	172
Древний свет	179
Алтарь затворенный	188
Свеча	191
Солнце играет	193



Молитва.....	200
Гробница.....	206
Вериги Толстого.....	212
Пушкин и митрополит Филарет.....	216

Отпечатано с диапозитивов ООО «Ставро»
в типографии АО «Молодая Гвардия».

Печать офсетная. Гарнитура «Baltica». Бумага газетная.

Формат 84x108/32. Объем 7 н.л.

Заказ 43104 Тираж 10 000 экз. Подписано в печать 26.01.2004 г.

Адрес АО «Молодая Гвардия»: 103090, Москва, Суцеская, 21.

Адрес ООО «Ставро»:

109512, г Москва, ул. Грайвороновская, д. 9, стр. 7.

Качество печати соответствует качеству оригинала.